



## БЕЗ РУССКОГО ЯЗЫКА У НАС НЕТ БУДУЩЕГО\*

*В.Г. КОСТОМАНОВ,*

*действительный член Российской академии образования,  
ректор Государственного института русского языка  
имени А.С. Пушкина,  
главный редактор журнала "Русская речь"*

Геополитические изменения последнего десятилетия не могли не сказаться на положении русского языка в мире и в самой России. Разрушается целостность и чистота литературных норм письменной и устной речи. Все сетуют на упадок, оскудение русского языка. Но я неоднократно говорил и повторю еще раз: в плачевном состоянии находится не язык – он как был, так и остается богатым, с неисчерпаемым великолепием выразительных средств, – а мы, его носители, те, кто этим языком сегодня пользуется. Это мы, не владеющие этим богатством, часто не знаем подлинного значения русских слов, а потому не можем их правильно употреблять и даже произносить, достойно выглядеть в разных ситуациях общения.

Оскорбительно обращаются с русской речью так называемые масс-

---

\* Доклад сделан на встрече представителей общественности, государственных органов, посвященной положению русского языка в странах СНГ и Балтии. Встреча состоялась 1 марта с.г. в Москве, в Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина.

медиа, ставшие поистине теле-радио-ядом, настоящим на смеси иностранщины с полу- или совсем непечатным просторечием. На потребу расхристанным вкусам издаются разные псевдонаучные словарики незатейливой уголовщины, блатной музыки; ими пестрят книжные развалы вперемешку с порнографией и поучениями религиозных сект. Лишившись четких ориентиров и иллюзий, общество вымещает на невинном русском языке свою растерянность и отчаяние.

Вопреки здравому смыслу сокращается преподавание русского языка в государствах СНГ и Балтии, он вытесняется из научных и общественно-политических изданий, производственно-хозяйственной и официальной документации, из межнационального общения. Особую тревогу вызывает изгнание русского языка из системы образования, из театральной, музыкальной, вообще культурной жизни этих стран.

Можно привести сотни примеров, подтверждающих нерадостную картину. Из Казани я получил письмо на бланке с шапкой на двух языках – татарском (что естественно) и английском (что понятно), но без русского (что непонятно и нарушает статью Конституции РФ о государственных языках). В научных изданиях на языках народов СНГ даются аннотации на английском и немецком языках, но не на русском. Бывший заместитель федерального министра образования публикует статью “Я русский бы выучил... только зачем?”, а академик РАО призывает постепенно переводить на английский язык преподавание математики, физики и других предметов и в русской школе. Полный разбой творится в торговой рекламе: несмотря на постановление мэра Москвы, центр города пестрит нерусскими надписями, указателями, вывесками.

Происходит некая духовно-языковая оккупация нашего сознания – своеобразная американомания или, переводя на русский по примеру *мракобесия – американобесие*. Мы ведь уже не *соглашаемся*, а *достигаем консенсуса*, не *сокращаем*, а *секвестрируем*, получаем *трэвел-гранты*, а не *деньги на командировку*, пьем *спрайт* вместо привычной *газированной*. Среди новых русских нет *предпринимателей*, а все *менеджеры*, *промотеры*, *бизнесмены* да *дилеры*, а то и *киллеры*. А какой спорт в моде? – *гандбол*, *бодибилдинг*, *фристайл*, *кикбоксинг*, *ориентинг*. Забываются даже обрусевшие иноземные слова: вместо *лозунгов – слоганы*, вместо *бутербродов – сэндвичи* и *биг-маки*, вместо *экрана – дисплей* и т.д.

Чужие слова в неупорядоченной и неограниченной массе возбуждают агрессивность, так как затемняют смысл и, что еще хуже, прививают иную ментальность, чужеродный взгляд на мир.

Не менее вредоносно и наводнение речи нелитературными, просторечными, жаргонными словами и выражениями: *разборка*, *совок*, *ломка*, *тусоваться*, *оттянуться*, *наехать на комок*, *ловить кайф*, *си-*

*деть на игле, крыша поехала* – вряд ли они украшают газеты, радиопередачи и просто нашу повседневную речь.

Известно, что состояние языка отражает внутреннюю силу, авторитет страны этого языка.

Как поступают французы, видя угрозу своему языку? Почувствовав падение интереса к нему после второй мировой войны, они возвели заботу о языке в ранг приоритета государственной политики, создали Высший совет франкофонии, который по должности возглавляет Президент Республики, щедро финансируют распространение французского языка по всему миру, всячески поддерживают зарубежных преподавателей этого языка, снабжая их литературой, техническими средствами обучения, приглашая на стажировку во Францию, даже систематически награждая их орденами Французской Республики. Сейчас французы приняли Закон о языке, в соответствии с которым ведут, в частности, борьбу за его чистоту, против излишних англо-американских заимствований. И преуспевают!

Это хороший пример и для нас, тем более, что русские традиционно лингвоцентричны, почитают, порой обожествляют свой язык; слово в нашей жизни играет большую роль, чем у других народов. Не случайно И.С. Тургенев в известном прозаическом стихотворении даже судьбы родины сопоставил с языком. Н.В. Гоголь в “Избранных местах из переписки с друзьями” писал: “Обращаться со словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку”. В своей Нобелевской речи Иосиф Бродский не без оснований утверждал, что “покуда есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна”. Замечание тем более примечательно, что поэт творил и на английском языке.

Лингвоцентричность русской истории, литературы, культуры отмечалась и зарубежными авторами. Известный американский драматург Артур Миллер недавно, например, советовал: “Я очень надеюсь, что в России не появится еще одна Америка. Вам не нужна подражательная культура, вам нужна свободная русская культура. У русских любовь к слову намного более распространена и более страстно выражена, чем в большинстве других стран” (Известия. 1992. 25 июня). Такова, вне всякого сомнения, одна из основ мирового значения русской классической литературы, высокой нравственности, морали и поучительности всей нашей культуры.

По этой и по многим иным причинам русский язык играет важную историческую роль в языковом развитии человечества, в международном обмене общечеловеческими ценностями. Он объявлен одним из официальных мировых языков ООН и других международных политических, экономических, транспортных и научных организаций. Русский язык введен в систему народного образования многих стран мира как один из иностранных языков, рекомендуемых по выбору для обязательного изучения в школах и университетах. По данным американ-

ских ученых, определявших и сравнивавших количество говорящих на данном языке, число и авторитет стран и международных коммуникативных сфер, использующих его, по социально-литературному престижу и другим критериям русский язык в 1998 году занимал 4-е место после английского, французского и испанского (ACTFL Newsletter. Winter 1998, p. 26).

Вообще в каждую эпоху далеко не все языки, но лишь максимально распространенные, поддержанные культурной, литературной, научной традициями, отражающие сильную экономику, входящие в так называемый “клуб мировых языков”, способны играть роль повсеместно принятых средств международного общения. Русский язык как раз и принадлежит к тем языкам, которые, как говорят лингвисты, обладают наибольшей информационной ценностью и коммуникативным удобством, то есть богатой литературной традицией, разветвленностью лексикона, упорядоченной грамматикой, научной изученностью, оснащённостью учебниками, словарями, наличием квалифицированных учительских кадров. Тут нелишне вспомнить поразительный размах переводческого дела в России и в СССР, непревзойденное качество русской переводческой школы.

Исторически так уж сложилось, что именно русский язык обеспечил межнациональное общение и сотрудничество всех народов на одной шестой части земной территории, открыл им доступ к мировым духовным сокровищам, помог полнокровно выйти на мировую арену – разумеется, в тесном вековом взаимодействии и взаимообогащении русского языка с их родными языками. Выдающуюся роль в развитии русского языка сыграли представители близкородственных ему языков – украинского и белорусского. Достаточно напомнить, что унификация русской письменности проходила при патриархе Никоне, под патронатом и по канонам Киево-Могилянской академии; грамматическими реформами русский язык во многом обязан Симеону Полоцкому; поколения русских учились по учебнику Мелетия Смотрицкого. Велик вклад в русский словарь практически каждого народа страны.

То, что русский язык сыграл громадную роль в развитии взаимопонимания и сотрудничества народов – отнюдь не выдумка и не имперская злокозненная пропаганда, а историческое требование жизни. самого существования народов-соседей. Ведь, как рассуждал в прошлом веке узбекский просветитель Саттархан: “Владея русским языком, разговаривая с русским народом, мы могли бы ближе узнавать друг друга, черпать много полезного. Не зная друг друга, Бог весть какое представление может складываться у нас о русском народе и у русского народа о нас”.

Известны высказывания на тему жизненной важности и высоких качеств русского языка казахского акына Абая, азербайджанца Мирзо

Фатали Ахундова, грузина И. Чавчавадзе, армянина М. Налбандяна, молдаванина М. Эминеску, эстонца Ф. Крейцвальда, латышша Я. Райниса, татарина Г. Тукая, белоруса Я. Лучины и, конечно же, гения всех восточных славян украинца Т.Г. Шевченко, который заклинал: чтобы “хлебом, как золотом укрытая, неразмежеванной осталася от моря и до моря” славянская земля. Заботясь именно о благе своих народов, они подчеркивали, что незнание русского языка будет многих обрекать на хозяйственную и культурную замкнутость, на провинциализм. Замыкаясь в себе и на себе, культура любого народа, особенно же малочисленного, задыхается.

Нет “чистых” государств в этническом отношении. В некоторых бывших советских республиках титульная нация составляет всего лишь около половины населения. А как быть со смешанными браками и вековыми родственными узами, соединяющими людей разных национальностей? И как бы ни старались некоторые политики закрывать глаза на эти проблемы, они существуют. А востребованность русского языка в этих условиях явно очевидна. Языковые и этнические скрепы прочнее производственно-экономических.

Было бы безумием в угаре “парада суверенитетов” забыть об этом и изгнать русский язык из межнационального да и, учитывая многочисленность русскоязычного населения и разнонациональный состав населения всех государств СНГ, из внутреннего употребления в каждом из этих государств. Явно искусственными выглядят предложения и попытки заменить русский язык в качестве средства межнационального, межгосударственного общения обширнейшего региона Земли английским или каким-либо другим чуждым для нашей истории языком. Не говоря уже о том, что такая акция потребовала бы колоссальных средств и весьма длительного времени, что обрекло бы несколько будущих поколений на изоляцию, ограниченную дееспособность, невозможность полноправно участвовать в диалоге культур. Незнание русского языка может сказаться на потере конкурентоспособности на рынке труда как за пределами, так и внутри своей страны.

Есть еще одно обстоятельство. Лингвисты хорошо знают понятие “языковой союз”: даже разноструктурные языки, носители которых тесно и длительно контактируют, вырабатывают сходные, общие черты, причем не только в лексиконе, но и в грамматике, и в фонетике. Хорошо известны, изучены и описаны, например, достаточно устойчивые сходства языков в Скандинавии или на Балканах. Так и все население бывшего СССР, оказавшись теперь в независимом плавании, живет в общих культурно-языковых рамках. К счастью, это по-прежнему облегчает производственно-торговые, образовательные и научные связи.

\*

Отдает ли наше общество себе отчет во всех несчастьях, обрушившихся на русский язык? Несомненно, но не столько понимает их, трезво анализирует, сколько просто ощущает – интуитивно и крайне эмоционально. Шумные публицистические призывы спасти русский язык от гибели приобретают характер заклинаний, вряд ли способных что-либо изменить. В газетных выкриках и на разных митингах и соборах, в комитетах Государственной Думы азартно обсуждается, например, идея Закона о русском языке, но воз и ныне там, где был лет восемь тому назад, когда идея эта возникла. Как-то тихо похоронен Совет по русскому языку при Президенте России, учрежденный его Указом от 7 декабря 1995 года.

Из-за урезанного финансирования лишь весьма частично выполняется Федеральная целевая программа “Русский язык”, утвержденная Правительством на 1996–2000 годы: из запланированных на эти пять лет средств было выделено в 1996 и в 1997 годах ноль, в 1998 г. – около 0,6%.

А ведь чтобы беде помочь, мало ее констатировать, надо искать пути выхода из нее, финансировать практические действия, прежде всего в сферах торгово-экономического, производственного и научного общения, в образовании, книгоиздательстве, радио- и телевидении. На фоне самоуничтожения, восторженного самооплевывания, охватившего, к сожалению, большую часть нашего общества, сейчас гораздо важнее создавать настроение оптимизма и веры в свои силы, находить пути выхода из кризиса.

В силу своих интересов и компетенции остановлюсь лишь на одном круге вопросов – вопросах, связанных с образованием. В первую очередь, думаю, следует принять меры к сохранению (отчасти, увы, уже восстановлению) стройной системы преподавания русского языка, подготовки и повышения квалификации русистских учительских кадров, написания и издания учебников, словарей и другой учебно-методической литературы.

Опыт показывает: чтобы развалить государство, достаточно развалить народное образование, но и обратная мысль не нова – чтобы наладить хозяйственно-производственные и иные связи, нужна единая в своем творчестве школа, дающая, в частности, возможность овладеть общим языком. В самом деле, о каком “свободном рынке” можно говорить, не предусмотрев для него единого средства коммуникации? Показательно, что торгово-промышленные палаты стран СНГ документацию ведут, как и раньше, по-русски, о чем свидетельствуют, например, соглашения 1992 и 1993 годов о едином патентном и лицензионном пространстве. Использование русского языка предусматривается соглашениями о транспортных правилах железнодорожных и автомобильных межгосударственных перевозок. Такие факты заслуживают широкой огласки и всемерного распространения.

Опасны появившиеся в ряде стран СНГ тенденции объявить, например, издание учебников индивидуальным делом отдельных лиц и коммерческих фирм, а преподавание русского языка – задачей частных школ. Необходимо сподвигнуть правительства на законодательные и бюджетные – государственные! – усилия, без которых не достичь установления добрососедских отношений друг с другом. Знание русского языка служит основой воссоздания единого образовательного пространства, в желательности чего сейчас, кажется, никто не сомневается. В 1993–1994 гг. в Бишкеке был открыт Киргизско-русский славянский университет, финансируемый на долевых началах Киргизией и Россией, предусматривающий частичное обучение студентов всех специальностей в российских вузах и, естественно, распространяющий русский язык. За прошедшие годы несколько сходных учебных заведений, средних и высших, появилось в Армении, Таджикистане и в других странах СНГ, но во многих случаях предложения на этот счет, утопленные в обсуждениях и согласованиях, не были осуществлены. Нет сомнения в том, что следует всячески поддержать такие начинания.

Самого серьезного внимания требуют педагоги-русисты, которые оказались разобщенными, лишенными возможностей обмена опытом, изолированными от родины русского языка. Парадоксально, таких возможностей (кстати, широко используемых!) у русистов из США, Германии и иного дальнего зарубежья сейчас больше, чем у русистов из стран СНГ. В их интересах необходимо возобновить практику научно-практических конференций, стажировок в российских вузах, приглашения в аспирантуру и докторантуру. Всемирная их поддержка, материальная и моральная, – очевидная патриотическая задача России. И надо понимать, что это как раз те затраты, которые исторически всегда окупаются сторицей. Это понимала еще императрица Екатерина II, повелев указом 1783 года “делать на монетном дворе ежегодно по одной золотой медали в 250 рублей” для поощрения лиц, в том числе иностранцев, “за деяния во благо отечественной словесности и российско-го языка”.

Кстати сказать, и в русских школах России стремление уделять русскому языку меньше внимания и времени, чем английскому или иному иностранному, вряд ли заслуживает одобрения. Это, конечно, не значит, что можно занижать значение знания других языков. Напротив, русские школы, вне всякого сомнения, должны прийти к преподаванию минимум двух языков – в том числе одного из языков стран СНГ. Последнее полезно было бы и в психологическом отношении – ведь распространение русского языка базируется не на державно-идеологических принципах, а на коммуникативно-культурных потребностях и дружески соседском уважении.

В повышении уровня владения русским языком необходимо шире

использовать возможности телевидения, кино и видео, радио, печати, интернетовских и прочих средств массовой информации. Следует восстановить пользовавшиеся громадной популярностью в России и за ее пределами телепередачи “Русская речь”, “Клуб друзей русского языка”, а также увеличить сократившиеся до смешного тиражи таких журналов, как “Русская речь”, “Русский язык за рубежом”, “Русский язык в школе”, ввести рубрики о русском языке в массовых журналах и газетах. И, конечно, добиться того, чтобы повсюду были обеспечены технические возможности приема радио- и телепрограмм на русском языке.

Не менее важно утолять возникший голод на литературу на русском языке – не только учебную, но и политическую, профессиональную, художественную. Только что осуществленная рассылка “Пушкинской библиотеки” в 3 500 точек в регионах России и еще 17 стран СНГ, Прибалтики, Восточной Европы и Монголии (Поиск. 1999. № 7) вызвала колоссальный благодарственный отклик. Хочется, чтобы таких акций было много, чтобы они были постоянными, а не только по случаю юбилеев. При всех финансовых затруднениях нельзя не регулировать цены на учебники, на культурно-просветительские общественно-значимые издания, которые без государственной или спонсорской дотации оказываются недоступными для молодежи и тех слоев населения, которым они более всего нужны.

Нередко возникает вопрос: почему, попадая, скажем, во Францию, россиянин не ожидает, что там говорят по-русски, а приезжая в Украину, ожидает. Но ведь дело в том, что во Франции просто не знают русского языка, а в Украине знают. И стоит ли рвать вековые связи, отказываться от родства и тем наказывать собеседника, а заодно и себя самого, ради того только, чтобы заявить: раз не выучил нашего языка, то мы с тобой вообще разговаривать не будем. Кому выгодно платить так дорого в отместку за имевшее место в ушедшем прошлом неоправданное сокращение школ с преподаванием на украинском языке, ограничение его применения в ряде сфер, т.е. за неразумную языковую политику предшествующей эпохи?

Несмотря на демагогические потуги вытеснить русский язык с территории некоторых стран СНГ, он по-прежнему продолжает сегодня функционировать в наиболее жизненно важных сферах – на транспорте, производстве, в торговле, науке; на нем общаются в семье, на улице, родители хотят учить ему своих детей... Давайте же не дадим недоброжелателям загасить этот здоровый интерес к русскому языку!

## 200 лет А.С. Пушкину

*И вновь о пушкинской «Деревне»**В. И. ГЛУХОВ.**доктор филологических наук*

Стихотворение “Деревня” – одно из самых сложных в идейном и художественном отношении произведение молодого Пушкина. Этим и объясняется появление разных подходов к его прочтению и толкованию. В частности, признаётся наличие в нём двух противостоящих друг другу частей – умиротворённо-идиллической, по преимуществу конкретно-описательной, которая составляет первую половину произведения, и части обобщённо-аналитической, исполненной острой критики крепостнических порядков и возмущения произволом помещиков. И хотя каждая из частей тоже может быть расчленена на композиционные звенья, всё же наиболее значительным для понимания стихотворения остаётся контраст между этими двумя.

Однако вряд ли следует их противопоставлять, как нередко делается. Дескать, первая часть принадлежит перу поэта-сентименталиста, а вторая написана в духе революционной декабристской поэзии, представителем которой Пушкин является. При этом анализ композиции стихотворения ведётся во многом с опорой на поэтическую стилистику обеих его частей, действительно заметно различную.

Везде передо мной подвижные картины:  
Здесь вижу двух озёр лазурные равнины,  
Где парус рыбака белеет иногда,  
За ними ряд холмов и нивы полосаты,  
Вдали рассыпанные хаты,  
На влажных берегах бродящие стада,  
Овины дымные и мельницы крылаты:  
Везде следы довольства и труда...

В этой зарисовке нет ничего литературно-условного, что было свойственно сентиментальной поэзии в изображении природы. Она совершенно конкретна и вещественна, от характерных примет местности и до предметов, имеющих отношение к производственной деятельности сельских жителей. Особенное внимание исследователей задерживала последняя строка, которая будто бы говорит о всеобщем благоденствии в деревне, тогда как в заключительной части элегии сообщается о “тягостном ярме” крепостнической эксплуатации и “гощем рабстве”.

Между тем эта строка, по нашему разумению, имеет совсем иной смысл: в ней итог ранее описанного, здесь говорится о результативности повседневной деятельности крестьян, а не об их достатке. Одно из значений слова *довольство* в русском языке XVIII – начала XIX века – достаточное количество чего-либо, обилие, множество. Заглянем в “Словарь русского языка XVIII века” (М., 1991. Вып. 6) и убедимся, что такое значение данного слова на стр. 169 приводится в первую очередь.

Напомнить об этом тем более важно, что в “Словаре языка Пушкина” слово *довольство* прочитывается однозначно: достаток, материальная обеспеченность. Впрочем, необходимо помнить и о предупреждении составителей словаря, которым он предваряется: “Поскольку Словарь языка Пушкина не является толковым словарём и тем более энциклопедическим <...> в нём не следует искать исчерпывающего определения слова. Его цель – не истолковать значение слова, а лишь различить отдельные значения, если их в словаре более одного” (Словарь языка Пушкина: В 4 т. М., 1956. Т. I. С. 14). Весьма уместное, это предупреждение даёт нам право уточнять в отдельных случаях значение употребляемых поэтом слов. Очевидно: слово *довольство* в монологе Бориса Годунова из одноимённой исторической трагедии: “Я думал свой народ / В довольствии и славе успокоить, / Щедротами любовь его снискать” имеет уже другое значение, чем в стихотворении “Деревня”.

Наблюдаемые Пушкиным “подвижные картины” сельской жизни, говорящие о плодотворном крестьянском труде, вызывают у него удовлетворение, а вот факт насильственного присвоения его результатов помещиками порождает глубокое возмущение, которое и передаётся в

заключительной части “Деревни”. Подобный поворот в движении мысли очень характерен для просветительского сознания, присущего в то время поэту. Он словно следовал за Радищевым, уже прибегавшим в “Путешествии из Петербурга в Москву” к аналогичному способу описания созданного крестьянским трудом и выражения своего отношения: “Немало увеселительным было для меня зрелищем вышневолоцкий канал, наполненный барками, хлебом и другим товаром нагруженными (...) Тут видно было истинное земли изобилие и избытки земледельца (...) Но если при первом взгляде разум мой услаждался видом благосостояния, при раздроблении мыслей скоро увяло моё радование. Ибо вспомнул, что в России многие земледельцы не для себя работают; и так изобилие земли во многих краях России доказывает отягчённый жребий её жителей. Удовольствие моё переменялось в равное негодование...” (Русская проза XVIII века. М., 1971. С. 487).

Как видим, радищевский путешественник, городской житель, тоже был в высшей степени удовлетворён, наблюдая обилие всего произведённого крестьянским трудом, однако вскоре в нём это чувство сменяется гневом, лишь только он вспомнит, что в его стране земледельцы больше работают на помещиков-крепостников, чем на себя.

О воздействии книги Радищева на Пушкина как автора “Деревни” уже писалось. При этом делались сопоставления соответствующих мест из обоих текстов. Мы устанавливаем ещё одно сходство: отношение к разительному несоответствию между продуктивностью труда крестьян и их нищетой и рабством. Это сходство свидетельствует о том, что в движении поэтического переживания Пушкин как бы идёт “во след Радищеву”, хотя самые сильные импульсы, вызвавшие элегию к жизни, поэт получил, несомненно, от действительности. По обоснованному утверждению Н.П. Огарёва, “Деревня” – “стихотворение, выстраданное из действительной жизни до художественной формы”.

Кстати, резкий контраст в описании российской деревни будет не раз затем встречаться – возможно, не без влияния стихотворения Пушкина – и у других авторов. К примеру, Н.В. Гоголь писал из Васильевки И.И. Дмитриеву летом 1832 года: “Чего, казалось, не доставало этому краю? Полное, роскошное лето. Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоплаченные”. М.Е. Салтыков-Щедрин в своей книге “За рубежом”, оценивая состояние сельского хозяйства в Восточной Пруссии, замечал: “Я очень хорошо понимаю, что среди этих отлично возделанных полей речь идёт совсем не о распределении богатств, а исключительно о накоплении их; (...) что за каждым из этих толтосумов стоят десятки кнехтов, в пользу которых выпадает очень ограниченная часть этого красивого довольства”. Здесь, помимо отмеченного социального конт-

раста, небезынтересно и то, что слово *довольство* используется в сходном с пушкинским значении.

Возвращаясь к “Деревне”, особо подчеркнём, что первая и вторая половины стихотворения не противоречат друг другу. Вторая, конечно же, эмоционально отлична от первой, но это отличие является не отрицанием её, а лишь служит формой внутренней связи с нею, становясь её продолжением.

Меняется и образный строй пушкинского стихотворения: его лирический субъект обретает многостороннюю психологическую характеристику, им владеют несколько чувств, выражающих разные стороны его неповторимой личности. Он восхищён деревенским уединением и природой, располагающими к размышлению и свободной творческой деятельности, а мысль о помещицкой тирании порождает чувство возмущения и страстное желание видеть народ освобождённым. В результате лирическое переживание воспроизводится не застывшим, а в самодвижении, вызванном противоречиями объективных обстоятельств, в которых оказался герой стихотворения.

Язык элегии гибок и разнообразен. Тут и условно-поэтическая лексика (*пустынный уголок, лоно счастья и забвенья, порочный двор цирцей*), и лексика “предметная”, точно фиксирующая явления и краски внешнего мира (*тёмный сад, душистые скирды, двух озёр лазурные равнины* и т.д.), и выражения высокого публицистического стиля (*оракулы веков, друг человечества, невежества убийственный позор, тягостный ярем, витийства грозный дар*).

Синтаксический строй вступительной части стихотворения, по преимуществу описательной, во многом определяется потребностью поэта назвать и перечислить всё то, что его в деревне привлекает. В другой же части элегии синтаксис заметно усложняется: параллельные ряды сложносочинённых предложений, включающих немало однородных членов и придаточных предложений (в первой части стихотворения) сменяются во второй каскадом сложноподчинённых предложений разного типа. При этом опорными здесь становятся глаголы и деепричастные обороты. Вот некоторые из них: “*Не видя слёз, не внемля стона, <...>/ Здесь барство дикое, без чувства, без закона, / Присвоило себе...*”; “*Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, / Здесь рабство тощее влачится по браздам...*”; “*Надежд и склонностей в душе питать не смея, / Здесь девы юные цветут/ Для прихоти бесчувственной злодея*”. Всё это вместе с анафорическим “здесь” призвано усиливать негативное впечатление о подневольном положении русского крестьянства, передавать нарастающий “ужас”, который переживает поэт, размышляя о беспросветной участи закрепощённого народа. Отсюда и естественная реакция его как “друга человечества”. Он страстно хотел бы увидеть народ освобождённым, что выражается в обращении к приёмам высокой ораторской речи:

О, если б голос мой умел сердца тревожить!  
Почто в груди моей горит бесплодный жар  
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?  
Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый  
И рабство, падшее по манию царя,  
И над отечеством свободы просвещённой  
Взойдёт ли наконец прекрасная заря?

Итак, как бы ни казалось это пушкинское стихотворение на первый взгляд неоднородным по своему содержанию и форме и даже состоящим из исключających друг друга частей, оно тем не менее является внутренне завершённым и целостным произведением. Его сложное построение отражает постижение поэтом разных сторон действительности, исполненной контрастов и противоречий. Перед нами одна из первых попыток молодого Пушкина поэтически осмыслить реальную жизнь в совокупности её различных сфер и граней.

*Иваново*





## *«Незданный франтик Петушков»*

*А.О. АМЕЛЬКИН,*

*кандидат исторических наук*

В романе “Евгений Онегин” большую роль играют эпизодические герои. Пушкин одной фразой, деталью, словом мастерски рисует их образы. То отталкивающие и пугающие, то милые и забавные, они отнюдь не проходные, а значимые фигуры, помогающие автору в раскрытии важных для него мыслей. Поэтому, читая роман, не следует пренебрегать этими персонажами, а стоит внимательнее к ним присмотреться.

Точные и меткие пушкинские характеристики эпизодических героев вызывают знакомые ассоциации, отсылают к известным литературным образам, устанавливают связь со сказанным поэтом или его пред-

шественниками ранее, и благодарный читатель получает возможность увидеть больше, чем говорит автор. Некоторые из этих героев ко времени написания романа стали “литературными масками, одно упоминание которых оживляет в сознании читателей целый художественный мир” (см.: Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л., 1980. С. 278). Иногда такие маски ещё только создаются Пушкиным, и тогда особенно важно понять, на какие образы опирался поэт, описывая своих героев.

Среди толпы гостей, собравшихся на именины к Татьяне Лариной, бросается в глаза “уездный франтик Петушков” (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. V. С. 96; далее – только том и стр.; ссылки на “Евгения Онегина” приводятся в тексте: арабской цифрой обозначается глава, римской – строфа). Н.Г. Долинина о нём пишет так: «“Уездный франтик Петушков” – три слова, больше ничего не сказано. Но мы зрительно ощущаем этого пустопорожного шалопаю, с петушиным хохолком, в пёстром одеянии, с дурным французским выговором и без единой мысли в голове» (Долинина Н.Г. Прочитаем “Онегина” вместе. Заметки о романе А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Л., 1971. С. 91). Ю.М. Лотману этот персонаж показался столь незначительным, что он оставил его без комментария.

Однако автор уделяет Петушкову внимания больше, чем это кажется исследователям. Роль “уездного франтика” в событиях, повлекших крушение счастья Онегина и Татьяны и гибель Ленского, значительна.

Что же мы знаем о Петушкове? Он, как и многие гости Лариных, наделён “говорящей” фамилией, смысл которой блестяще раскрыт Н.Г. Долининой. Но его появление у Лариных, вопреки мнению исследователя, не единственное на страницах романа. Петушков, скорее всего, упомянут и во сне Татьяны. То, что в образах чудовищ предстают соседи, пришедшие на именины к Лариным, было ясно ещё современникам Пушкина (см. об этом: Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. С. 284–285).

Глядит она тихонько в щёлку,  
И что же видит?.. за столом  
Сидят чудовища кругом:  
Один в рогах с собачьей мордой,  
Другой с петушьей головой,  
Здесь ведьма с козьей бородой,  
Тут остов чопорный и гордый,  
Там карла с хвостиком, а вот  
Полужуравль и полукот. (5. XVI)

Петушков легко опознаётся по выразительной детали – *петушьей голове*. Деталь эта намекает на его фамилию, указывает на его франтовской хохолок и напоминает о некоторых особенностях его характера.

Помимо этого Петушков появляется в романе трижды. Он приглашает на танец Ольгу. В первом (отдельном) издании пятой главы “Евгения Онегина” Пушкин опубликовал часть XLIII строфы, опущенной в последующих изданиях. И там вновь мелькает Петушков:

Подковы, шпоры Петушкова  
(Канцеляриста отставного)  
Стучат...

(Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1937. Т. VI. С. 610). Эта подробность выставляет его в довольно забавном виде. Шпоры были обязательным элементом формы кавалерийского офицера, но никак не гражданского чиновника, тем более вышедшего в отставку. К тому же на балах они были неуместны, и даже кавалерийские офицеры являлись туда, как и прочие гости, в вицмундирах и башмаках. Тем более нелепым выглядел воинственный облик Петушкова, полагавшего, вслед за тригорской соседкой Пушкина Анной Ивановной Вульф (Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. С. 162), что в шпорах есть нечто романтическое. Это мнение своей тригорской соседки поэт обыгрывает в примечаниях к XXVIII строфе первой главы “Евгения Онегина” (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. Т. VI. С. 528). Наконец, Петушков появляется среди женихов Татьяны:

Буянов сватался: отказ.  
Ивану Петушкову – тоже. (7, XXVI)

Более ничего об этом герое в романе не говорится. Но почему в сцене приглашения Ольги на танец он назван Парисом?

Обрадован музыки громом,  
Оставя чашку чая с ромом,  
Парис окружных городков,  
Подходит к Ольге Петушков... (5, XXXIX)

Ю.М. Лотман обошёл эти строки своим вниманием. Нам же кажется, что в них очевидна насмешка над самовлюблённым ухажёром. Попутно напомним, как характеризует автор столичного двойника уездного франтика:

В дверях другой диктатор бальный  
Стоял картинкою журнальной,  
Румян, как вербный херувим,  
Затянут, нем и недвижим... (8, XXVI)

Выводя Петушкова напыщенным франтом, казалось бы, не обязательно вспоминать Париса. Но у Пушкина не бывает случайных деталей. «Парис, в греческой мифологии, троянский царевич, (...) воспользовав-

шись гостеприимством спартанского царя Менелая, похитил его жену – красавицу Елену и большие сокровища. Коварный поступок Париса послужил причиной Троянской войны, в которой сам Парис, согласно “Илиаде”, не принимал активного участия» (Мифологический словарь. М., 1990. С. 422). Основным поступком Париса было его любовное похождение, приведшее к войне, стоившей жизни многим героям.

Нечто похожее наблюдаем и у Петушкова. Единственный его поступок в романе – участие в танцах на именинах Татьяны. Какая здесь связь с похищением Елены? Повнимательнее рассмотрим к танцующим парам:

Парис окружных городков,  
Подходит к Ольге Петушков.  
К Татьяне Ленский; Харликову,  
Невесту переспелых лет.  
Берёт тамбовский мой поэт,  
Умчал Буянов Пустьякову.  
И в залу высыпали все.  
И бал блестит во всей красе. (5, XXXIX)

Но ведь было бы логичнее, если бы Ленский танцевал с Ольгой, а не с Татьяной. Он влюблён, скоро его свадьба. Отчего же такой странный состав пар? И, кажется, виновник этого Петушков. Как только “из-за двери в зале длинной/Фягот и флейта раздались” (5, XXXIX), Ленский, уверенный в своём праве на танец, устремился к Ольге. Где она могла находиться в этот момент? Обычно на балу, по крайней мере, в его начале, родственники старались держаться поближе друг к другу. Достаточно вспомнить описание первого бала Наташи Ростовской. А на именинах старшей сестры Ольга тем более держалась подле. Деревенская тишь не так часто нарушается шумными праздниками и, привыкшая быть в центре внимания (вспомним её поведение на балу с Онегиным), Ольга едва ли упустила бы возможность покрасоваться рядом с сестрой, когда общее внимание было обращено на Татьяну. Влюблённый поэт неспеша идёт к сёстрам, и тут-то его обгоняет Петушков и первым приглашает Ольгу. Правила хорошего тона не оставляли Владимиру выбора – он приглашает Татьяну и они образуют вторую пару. Онегин, возможно, рассчитывавший пригласить Татьяну, вынашивает план мести. Далее – скандальное поведение с Ольгой, вызов и дуэль.

Первоначальный же толчок событиям, приведшим к гибели Ленского, дал именно танец Петушкова с Ольгой. Не случайно он назван Парисом как раз в сцене приглашения на танец. Здесь он схож с похитителем Елены, скрывшимся в тень, когда завязались схватки у стен Трои.

Н.Г. Долинина, однако, считает, что поводом для мести было само приглашение Онегина на большой бал (Долинина Н.Г. Указ. соч. С. 93–95). Об этом, дескать, говорится в XXXI строфе пятой главы:

Чудак, попав на пир огромный,  
Уж был сердит. Но, девы томной  
Заметь трепетный порыв,  
С досады взоры опустив,  
Надулся он и, негодуя,  
Поклялся Ленского взвесить  
И уж порядком отомстить.  
Теперь, заране торжествуя,  
Он стал чертить в душе своей  
Карикатуры всех гостей.

Однако с этим утверждением трудно согласиться, ведь уже в XXXIV строфе у Евгения, в общем-то “доброго малого”, меняется настроение:

Пошли приветы, поздравленья;  
Татьяна всех благодарит.  
Когда же дело до Евгенья  
Дошло, то девы томный вид,  
Её смущение, усталость  
В его душе родили жалость:  
Он молча поклонился ей,  
Но как-то взор его очей  
Был чудно нежен. Оттого ли,  
Что он и вправду тронут был,  
Иль он, кокетствуя, шалил,  
Невольно ль, иль из доброй воли,  
Но взор сей нежность изъявил:  
Он сердце Тани оживил.

Поэт нарочно прячет доброе чувство Онегина за своим сомнением: не привычная ли это игра? Но читатель верит, нет – не игра. Не случайно в этой строфе дважды говорится о нежности взгляда Евгения. И желание пригласить Татьяну на танец – естественно, понятно. В таком случае объясним и гнев Онегина на Ленского. Ведь это он – Ленский – пригласил на танец не кого-нибудь, а именно Татьяну.

Сравнение с Парисом открывает ещё одну грань в замысле Пушкина. В Михайловском, когда создавалась 5 глава “Евгения Онегина”, поэт забавлялся мыслью, что поводом к важным событиям могут стать сущие пустяки. Он обыгрывает её в “Графе Нулине”, сравнивая заезжего волокиту с последним римским царём Тарквинием Гордым:

К Лукреции Тарквиний новый  
Отправился, на всё готовый. (IV, 176)  
Она Тарквинию с размаха  
Даёт пощёчину, да, да! (IV, 177)

Аналогией римской истории с реалиями деревенской жизни поэт осмысленно снижал высокий эпический образ. Об этом он сообщает в рассказе о своём пребывании в деревне (VII, 156).

Позднее пародийное сопоставление античности и современности является в “Домике в Коломне”:

И табор свой с классических вершинок  
Перенесли мы на толкучий рынок. (IV, 236)

Эта тема не случайна в творчестве поэта. Низвержение классических образцов до обыденного уровня продолжало спор сторонников Н.М. Карамзина с писателями-архаистами.

Однако смысл сопоставления уездного франтика Петушкова с Парисом заключается не только в воспоминаниях о спорах десятилетней давности. Обыгрывая высокие образы античности, Пушкин развивает ещё одну мысль – о роли случая в истории и судьбе. Пятая глава “Евгения Онегина” начата 4 января, а окончена 22 декабря 1826 года. Незадолго до этого в два дня, 13 и 14 декабря 1825 года был написан “Граф Нулин”, также противопоставляющий античность современности. В 1830 году поэт признавался, что к созданию поэмы его подтолкнула парадоксальная мысль: “Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобно тому, которое случилось недавно в моём соседстве, в Новоржевском уезде” (VII, 156). Действительно: “Бывают странные сближения”. Когда поэт, ещё не зная о восстании декабристов, шутил о роли случая в истории, в столице происходили события, от исхода которых зависели судьбы России и Европы.

Когда же писался 5 глава “Евгения Онегина”, Пушкин знал о восстании в Петербурге, и мысли о случайностях и закономерностях едва ли покидали его. В романе нелепая случайность привела в действие механизм, который помимо воли умных и благородных людей разрушил их счастье, а сам виновник трагедии остался в стороне и даже не заметил, к чему привёл его невинный поступок. Есть и закономерность:

Когда б он знал, какая рана  
Моей Татьяны сердце жгла!  
Когда бы ведала Татьяна,  
Когда бы знать она могла,  
Что завтра Ленский и Евгений  
Заспорят о могильной сени;  
Ах, может быть, её любовь  
Друзей соединила б вновь!  
Но этой страсти и случайно  
Ещё никто не открывал.  
Онегин обо всём молчал:  
Татьяна изнывала тайно;  
Одна бы няня знать могла,  
Да недогадлива была. (6, XVIII)

Однако поэта занимала не только роль случая в античной и новой истории. В дневнике 1829 года содержатся примечательные строки: «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском Телеграфе”» (VI, 451–452). Эта мысль позволяет по-новому взглянуть на сопоставление уездного франтика с героем Трои.

В самом деле, сравнение обыденности с античностью не только снижает пафос древних образов, но и возвеличивает, объясняет современность. Одни и те же законы действуют и в истории и в частной жизни. Накануне восстания на Сенатской площади поэт пытался бежать из Михайловского, и только встретившийся по дороге заяц вынудил его повернуть обратно. Суеверие или его величество Случай помог Пушкину, избавив от неминуемой кары. Как знать, может быть, именно это обстоятельство привело к трагической развязке, вспыхнувшей из-за нехоти сделанного приглашения на танец Парисом-Петушковым?..

*Воронеж*

---

---



**“Крылатая” латынь  
в прозе  
Салтыкова-Щедрина**

*Б.И. МАТВЕЕВ*

Одна из отличительных особенностей стиля М.Е. Салтыкова-Щедрина – использование античных афоризмов на языке подлинника, причём латинские изречения встречаем не во всех произведениях. Их нет в романах “Господа Головлёвы” и “Пошехонская старина”, изображающих провинциальное дворянство. Зато там, где речь идёт о российской бюрократии и так называемой либеральной интеллигенции, их довольно много.

Функции крылатых слов античного происхождения в языке писателя самые различные, и применяются они как в бытовых зарисовках, так и в характеристиках персонажей, среды их обитания.

В цикле очерков “Господа ташкентцы” атмосферу всеобщего ограбления народа, безудержной погони за рублём, стремительных обогащений, головокружительных карьер “рыцарей копейки” ярко передаёт латинский афоризм, запомнившийся “ташкентцу подготовительного класса” ещё со школьной скамьи: *res nullius caedet primo occupanti* (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 10 т. М., 1988. Т. 3. С. 102; далее – только том и стр.), что означает: “Вещь принадлежит тому, кто первый

её захватит”. Так формулировалось одно из положений римского частного права, зафиксированное в законоположениях Юстиниана.

Столь же выразительно звучит латинское словосочетание *anima vilis* (подопытное существо) при описании безрадостной участи в России писателя-сатирика: “Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль *anima vilis* перед лицом волшебства, но, до сих пор, последнее хоть душу его оставляло нетронутую” (9, 29).

Для придания высказыванию большей силы и выразительности афоризм обычно выносится в начало предложения. Так, рассуждениям героя “Дневника провинциала в Петербурге”, ставшего жертвой финансовых махинаций собственных сестёр и поэтому усомнившегося в существовании понятий *семья*, *собственность*, предшествует знаменитая фраза “Жребий брошен”, произнесённая, по преданию, Юлием Цезарем при переходе через Рубикон:

“*Alea jacta est!*.. Где же принцип собственности? где святость семейных уз? Если сестрицы сознавали своё право на обладание моим миллионом и если при этом им было присуще чувство собственности, то они были обязаны идти до конца, влечься к *своему* миллиону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что бы из того ни произошло! С другой стороны, ежели они чувствовали себя членами семьи, то точно так же фаталистически и до последней крайности обязывались мстить моему обидчику” (4, 267).

Чаще крылатое выражение завершает предложение или абзац, что придаёт ему особую значимость. Например: “Сверх того, для нас, иностранцев, Франция, как я уже объяснил это выше, имела ещё особое значение – значение светоча, лившего свет *coram hominibus*” (перед человечеством. – *здесь и далее в ломаных скобках даётся русский перевод*) (7, 144).

Или: “– Главное, друг мой, береги здоровье! – твердил ему отец, – *mens sana in corpore sano*” (9, 173).

Иногда латинское выражение выступает в эзоповском смысле, что поддерживается его положением в тексте. В этом отношении весьма характерна концовка “Писем к тётеньке”, публиковавшихся в период реакции. Адресат цикла очерков – либеральная интеллигенция, которую Щедрин по конспиративным соображениям именует “тётенька”. Излагать своё подлинное отношение к происходящему в стране сатирик по цензурным условиям мог только иносказательно, намёками. Об этом свидетельствует и крылатое выражение в финале последнего, пятнадцатого письма: «Затем передайте мой сердечный привет вашим домочадцам и прощайте. *Sapienti sat* (Умный поймёт!).

Но знаете ли вы, милая тётенька, что означает “*sapienti sat*”?» (7, 519). Здесь писатель дважды приводит латинское выражение, взятое из комедии “Формион” римского комедиографа Публия Теренция, чтобы подчеркнуть, что сказал всё, что хотел и мог сказать. Об остальном нужно догадываться.

Не меньшая яркость и острота изображения достигается писателем и в тех случаях, когда он использует лишь отдельные элементы крылатого выражения, в частности, такого, как *Nascuntur poetae, fiunt oratores* (поэтами рождаются, ораторами делаются).

В памфлете “Читатель-ненавистник” сатирик, вскрывая причины появления неистовых гонителей свободного слова, пишет: “*Nascuntur* или *fiunt* сеятели общественных раздоров? – вот вопрос, который нелишне, в заключение, разъяснить.

Я полагаю, что не *nascuntur*, а *fiunt*. (...) Нужен целый ряд заражающих примеров, целая растлевающая система воспитания, наконец, продолжительный жизненный процесс, в котором главное содержание составляет праздность, чтобы произвести нравственное чудовище” (9, 220).

То же латинское изречение (*Nascuntur poetae, fiunt oratores*) в несколько преобразованном виде используется в цикле “За рубежом” для убийственной характеристики политических деятелей III Французской республики: “*Oratores fiunt* – очень справедлив этот латинский афоризм. То есть Демосфены, Мирабб, Демулены, Гамбетты – *nascuntur* (рождаются); а Цицероны, Тьеры, Клемансо, Гамбетты и некоторые русские *langues bien pendues* (с хорошо подвешенными языками (франц.)) – эти *fiunt* (делаются). Современный французский политический оратор отяжелел и ожирел; современные слушатели его – тоже отяжелели и ожирели. Первый потерял способность зажигать; второй утратил способность быть зажигаемым” (7, 143).

Текст построен чрезвычайно искусно. Абзац начинается с одной из частей латинского афоризма, другой заканчивается второе предложение. Последующие два предложения построены тоже по принципу синтаксического параллелизма.

Цитируя латинские афоризмы, Салтыков-Щедрин нередко прибегает к их комментированию применительно к российским условиям. Например, в очерках “За рубежом” читаем: “Перед обедом в ушах моих раздавалось: – Подобно древним римлянам, русские времён возрождения усвоили себе клич: *panem et circenses!* (Хлеба и зрелищ!) И притом чтобы даром. Но *circenses* у вас отродясь никогда не бывало (кроме сексуций при волостных правлениях), а *panem* начал поедать жучок” (7, 234–235).

Иногда комментируется отдельное слово из афоризма, приведённого на языке подлинника. В “Письмах к тётенке” о латинской пословице *errare humanum est* (человеку свойственно заблуждаться) вначале сказано, что она давно вышла из употребления и её следует забыть. *Serrare*, по мнению Салтыкова-Щедрина, хлопот много: «... по нынешнему времени, не сггаге нужно, а “внушать доверие”. Только и всего» (7, 288). Однако дальнейшие рассуждения адресанта убедительно доказывают читателю, что свободное развитие человека и общества невозможно без

отдельных ошибок и заблуждений, так что строго относиться к еггаре *humanum est* не следует (7, 289).

В ряде случаев иноязычному изречению даётся русский эквивалент, не всегда полностью совпадающий по смыслу с оригиналом: «"Уши выше лба не растут!" – ведь это то самое, о чём древние римляне говорили: "Respice finem!" (Подумай о последствиях!) Только более нам ко двору» (8, 383).

В явно провокационном разговоре с агентами охраны Удавом и Дыбой автор очерков "За рубежом" объясняет низкую урожайность зерновых в России обилием свобод: "Так что ежели ещё немножечко припустить, так, пожалуй, и совсем хлебушка перестанет произрастать..."

*Dixi et animam levavi* (Сказал – и облегчил душу) или в русском переводе: сказал – и стошнило меня" (7, 32).

Тот же приём создания комического эффекта путём произвольного перевода с латинского встречаем при описании русских за рубежом: «Сегодня, в Интерлакене, не сводит глаз с Юнгфрау, а завтра любитесь люцернским раненым львом с надписью: *Helvetiorum virtuti ac fidei* (Доблести и верности швейцарцев), каковую надпись, в шутовском тоне переводит: "Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1790 году, за подённую плату, французское престол-отечество"» (7, 45).

Свободный перевод афоризма даёт возможность кратко, но исчерпывающе охарактеризовать того или иного персонажа, например, графа Твёрдоонто, девизом которого было всё знать, всё слышать, всё видеть и в особенности наблюдать, чтобы не было "превратных идей и недоимок". Граф пытается воспроизвести латинское изречение, однако, не зная языка, путается: "Но ведь я человек... *Homo sumo*, как говорит Мамелфин... то бишь, как дальше?

– *Homo sum et nihil humani a me alienum puto*, – подсказал я, – то есть: человек емь и ни один человеческий порок не чужд мне..." (7, 117).

Верканье широко известных афоризмов – один из приёмов показа Шедриным интеллектуального убожества правящего сословия. Подпоручик Живновский, рассказывая о себе, безбожно искажает латинскую пословицу "Всё своё ношу с собой": "Ну, я, знаете, человек военный, долго не думаю: кушак да шапку, или, как сказал мудрец, *omnia me cum me*" (1, 80). Ему вторит полуобразованный Пьер Накатников, ставя в латинских словах ударение на французский лад: "*Omnia mea mecum porto*" (3, 122–123). На самом деле афоризм древнегреческого мудреца Бианта звучит так: *omnia mea mecum porto*.

Губернатор Митенька, обсуждая план предвыборной кампании, приводит "неслыханную цитату" из передовой статьи: "*Unitibus rebus vires cresca parvunt!*" (2, 82). Неслыханность этого изречения заключается в том, что Митенька, которого плохо учили, перевирает известный латинский афоризм *Viribus unitibus res parvae crescunt* (От соединения усилий малые дела вырастают).

В дальнейшем он же, стараясь блеснуть знанием древних языков, уродует библейскую цитату, которая на латыни звучит так: “*Vanitas vanitatum et omnia vanitas*” (Суета сует и всяческая суета). Мудрое изречение в устах Митеньки превращается в бессмыслицу: “*Vanitum vanitatum et omnium vanitatum*” (2, 121).

В “Помпадурах и помпадуршах” Салтыков-Щедрин подвергает уничтожающей критике российскую бюрократическую систему, показывая, что правящая элита страны формируется не по деловому, а по клановому принципу. Ответственные посты занимают людьми по знакомству, по протекции. При продвижении по службе соотвествующее образование, культура меньше всего принимаются во внимание. В результате во главе государственной системы оказываются ограниченные, полуобразованные люди.

Характерен в этом отношении выбор латинского афоризма, которым украсили свои заранее заготовленные речи губернские чиновники, провожая смещённого начальника: “*Timeo Danaos et dona ferentes!*” (2, 17). Эти слова взяты из “Энеиды” Вергилия, где их произносит жрец Лаокоон, заподозривший коварство осаждавших Трои данайцев, оставивших у стен города огромного деревянного коня, в котором были спрятаны войска. В переводе на русский они означают: боюсь данайцев (греков), даже приносящих дары.

Афоризм никак не подходит к описываемому событию и при всех оговорках ораторов звучит двусмысленно, свидетельствуя лишь о провалах в их образовании.

О подготовке руководящих кадров Щедрин пишет: “Главные помпадуры избираются преимущественно из молодых людей, наиболее способных к телесным упражнениям. На образование и умственное развитие их большого внимания не обращается, так как предполагается, что эти лица ничем заниматься не обязаны, а должны только руководить” (2, 267–268).

В очерке “Испорченные дети”, осмеивающем чиновничество высокой служебной иерархии в связи с попыткой “обеспечить народное здравие” одного из “государственных младенцев” – Младо-Сморчковского, приведена пословица *Satur venter non studet libenter* (Сытое брюхо к учению глухо) (3, 41).

Пословицу вспоминает наставник Младо-Сморчковского Степан Петрович Сапиентов, который “кончивши курс в духовной академии (...) при помощи ласковости и пастырского благословения, кое к кому втёрся, кое около кого потёрся, так что в продолжительном времени познал даже употребление носового платка” (3, 27).

Фамилия педагога образована от латинского слова *Sapientia* (ум, мудрость) и звучит в контексте написанного явно иронически.

Ещё один пример, когда латинское выражение употребляется как средство характеристики персонажа: “В барской усадьбе живёт старый

генерал Павел Петрович Утробин; в новом домике, напротив, – хозяйствует Антошка кабатчик, Антошка прасол, Антошка закладчик, словом, Антошка – homo novus, выброшенный волнами современной русской цивилизации на поверхность житейского моря” (5, 186–187). Слово сочетание *homo novus* необычайно точно отражает смену хозяев жизни в переформенной России.

Для стиля Салтыкова-Щедрина типично объединение книжных выражений с разговорными и просторечными: “Ужели же, из-за какой-нибудь статистики, единственно ради её полноты, мы станем мучиться сомнениями! *Risum teneatis, amici?* Гораздо проще и эту главу изъять из программы занятий конгресса – и дело с концом” (4, 209).

Латинский афоризм *Risum teneatis, amici?* (Не смешно ли?) контрастирует здесь с разговорным исконно русским выражением “и дело с концом”, вынесенным в заключение абзаца. Сочетание разных по стилю фразеологизмов повышает экспрессию текста.

Рисуя среду обитания в Петербурге любовницы мироеда Дерунова, жены его сына, Салтыков-Щедрин прибегает к латинскому выражению *plus ultra* (верх), что, соседствуя с исковерканным словом *кавалергард* (“калегвард”) придаёт сцене иронический смысл: «Мне досадно было смотреть на роскошный её пеньюар и на ту нелепую позу, в которой она раскинулась на кушетке, считая её, вероятно, за *plus ultra* аристократичности; мне показалось даже, что все эти “калегварды”, в других случаях придающие блеск обстановке, здесь только портят» (5, 162).

Латинское выражение, вкрапленное в текст подчёркнуто бытового содержания, усиливает сарказм сатирика: «Клянусь, я не крепостник; клянусь, что ещё в молодости, предаваясь беседам о святом искусстве в трактире “Британия”, я никогда не мог без угрызения совести вспомнить, что все эти пунши, глинтвейны и лампопо́, которыми мы, питомцы нашей *alma mater*, услаждали себя, – всё это приготовлено руками рабов; что сапоги мои вычищены рабом и что когда я, весёлый, возвращаюсь из “Британии” домой, то и спать меня укладывает – раб!..» (4, 86–87).

Фальшь показного либерализма блестяще раскрывается рядом стилистических приёмов, прежде всего, соединением, казалось бы, несоединимого. Анафора, высокопарное словосочетание “святое искусство”, латинское выражение *alma mater* (здесь: университет) соседствует с трактиром “Британия”, детальным перечислением выпитых вин, сапогами.

Писатель-сатирик творчески использовал выразительные свойства латинских изречений, наполняя их новым содержанием и создавая по их моделям свои собственные как на латинском, так и на русском языке. Например, взамен афоризма *ergare humanum est* он предлагает новый: *humanum est mentire* (человеку свойственно лгать).

А знаменитое донесение Цезаря сенату *Veni, vidi, vici* (Пришёл, увидел, победил) трансформируется в целый ряд чеканных и ярких формулировок на русском языке, характеризующих самые различные реалии российской действительности. Например, типичные способы обогащения *homo novus* (“ухватил, смял, поволок” – 3, 102), административное рвение чиновников (“Налетел, нагрянул, ушиб – а что ушиб? – он даже не интересуется и узнать об этом...” – 3, 76), “созидательную деятельность” русского реформатора, “который придёт, старый храм разрушит, нового не возведёт и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придёт, насорит и уйдёт...” (3, 358).

Как видим, античные крылатые слова в произведениях Салтыкова-Щедрина выполняют самые различные функции и нередко претерпевают смысловые и структурные изменения. Цель этих изменений – повышение экспрессивных возможностей фразеологизмов. Для этого сатирик прибегает к самым различным приёмам: переосмысливает античные изречения, сообщая им ироническое звучание, противопоставляет разговорный фразеологизм книжному, использует афоризм в усечённом виде или комментирует его составляющие элементы, наполняет синтаксическую структуру выражения совершенно новым лексическим содержанием.

---



## О глаголе *воять* у И.А. Бунина в “Божьем древе”

Н.С. АВИЛОВА,  
доктор филологических наук

В рассказе “Божье древо” главным действующим лицом является караульщик сада, однодворец Яков. Бунин много места уделяет речи Якова, говоря о ней: “Говор старинный, косолапый, крупный...”, “Я всё дивился, сколько он употребляет слов старинных, древних даже, почти всеми забытых...”. Про своего кобелька он говорит так: “Он любит *воять* в тёмные ночи”.

Рассказ “Божье древо” был подвергнут подробному анализу, и именно с точки зрения языка, Вл. Ходасевичем в парижской газете “Возрождение” (1931. 30 апр.). Про глагол *воять*, не найдя его у В.И. Даля, Ходасевич замечает: «Не приходилось и мне с нею (формой. – Н.А.) никогда встречаться, за исключением одного случая: в стихотворении “Буря” Пушкин написал и напечатал в “Московском вестнике” 7-й стих в таком виде: И ветер *воил* и летал. Эта форма поныне считается “ошибочной”. На эту “ошибку” тогда же указали и Пушкину (кажется, указал Фаддей Булгарин), и стих был переделан: “И ветер бился и летал...”». И далее Ходасевич пишет, что “мы имеем дело не с ошибкой, а с бессознательным воспоминанием где-то когда-то услышанной и усвоенной архаической или областной формы” (см.: Бунин И.А. Собр. соч. М., 1996. Т.V. С. 15).

Ходасевич, конечно же, прав в таком утверждении, но он не имел возможности его проверить из-за отсутствия источников.

Остановимся подробнее на таких глаголах. Глагол *выть* с приводимым Пушкиным и Буниным вариантом формы инфинитива *воять*<sup>1</sup>. Этот глагол относится к немногочисленным (их всего пять) глаголам непродуктивной группы: *выть–воют*, *ныть–ноют*, *рыть–роют*, *мыть–моют*, *крыть–кроют*.

<sup>1</sup> Пушкин даёт форму *воить*, что, несомненно, является уступкой произношению, так как ударение в глаголе падает на первый слог, и в заударной позиции неясно, какой звук наличествует.

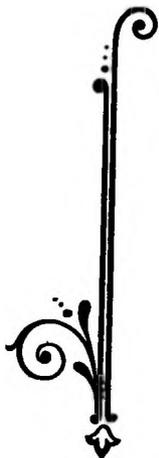
Что происходит, если в инфинитиве мы находим вместо *выть*–*вать*? Очевидно, что происходит выравнивание формы инфинитива по спрягаемой форме – *вою*, *воешь*, *воет*... Это несомненное влияние первой продуктивной группы глаголов с суффиксом *-а-* в инфинитиве, типа *делать* – *делаю*. Этот продуктивный класс необычайно силен. Создавая по своему образцу новые глаголы, он втягивает в своё словообразование и непродуктивные группы, например глаголы на *-ать* в инфинитиве, не имеющие этого суффикса в настоящем времени: страдать – страдаю – страдаю, брызгать – брызжу – брызгаю...

В нашем случае происходит обратное: инфинитив под влиянием спрягаемой формы выравнивает основу, причём берёт из спрягаемой формы *ј*: *вою* – *вожать*, *вожал*, а суффикс *-а-* по продуктивному первому классу: “кобелёк любит *вожать* по ночам”; “ветер *вожал* и летал”.

“Словарь русских народных говоров” под редакцией Ф.П. Филина фиксирует форму *вожать* как живую в ряде областных говоров России (онежских, архангельских, курских, новгородских, тверских, вятских, тульских, калужских) и, что для нас особенно важно, псковском (Л., 1970. Вып. 5. С. 169). Пушкин опубликовал стихотворение “Буря” в журнале “Московский вестник” в 1827 году, то есть вернувшись из ссылки в Михайловское. Несомненно, что глагол *вожать*, *вожал*, воспринятый и запечатлённый им со слуха, мог быть им бессознательно уловлен и запомнен, что и отразилось в стихотворении. Интересно, что в ряде народных говоров, хотя и редко, фиксируется глагол *вожать* (*вою*) с ударением на втором слоге, что подтверждает наличие суффикса *-а-* и в инфинитиве с безударным слогом.

Интересно отметить, что глагол той же непродуктивной группы *ныть* зафиксирован в форме *ноять* в контексте *нояла рука* (архангельские, говоры Колымы, Карелии – Словарь русских народных говоров. Вып. 21. С. 307), то есть показывает тот же процесс, что и глагол *выть* – *вожать*.

Таким образом, предположение Ходасевича о неслучайном употреблении Пушкиным (и Буниным) глагола *вожать* вполне подтверждается материалами русских народных говоров.



## “Стихов шкатулок”

К теме: “Маяковский и Анненский”

О.А. ЛЕКМАНОВ,  
кандидат филологических наук

Иннокентий Анненский – кажется, единственный русский поэт-символист, упомянутый в “серьёзном” стихотворении Владимира Маяковского, написанном в 1910-е годы.

Не высидел дома.  
Анненский, Тютчев, Фет.  
(“Надоело”, 1916)

Раздел “Тема и метод Анненского” вошёл в содержательные “Заметки о Маяковском” Н.И. Харджиева (см.: Харджиев Н.И., Тренин В.В. Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 197–200).

Эта заметка представляет собой попытку выявить скрытые отсылки к Анненскому в стихотворении Маяковского 1913 года “Нате!”, о котором речь у Харджиева не идёт.

Через час отсюда в чистый переулок  
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,  
а я вам открыл столько стихов шкатулок,  
я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста  
где-то недокушанных, недоеденных щей;  
вот вы, женщина, на вас белила густо,  
вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца  
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.  
Толпа озверевает, будет тереться,  
ощетинит ножки стоголавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,  
кривляться перед вами не захочется – и вот  
я захохочу и радостно плюну,  
плюну в лицо вам  
я – бесценных слов транжир и мот.

Давно замечено, что образ “грубого гунна” из этого стихотворения восходит к знаменитым “Грядущим гуннам” (1905) Валерия Брюсова. Сейчас хотелось бы привлечь внимание к строке Маяковского – “а я вам открыл столько *стихов шкатулок*...”. Типичная для поэта “материализация образа” (Гаспаров М.Л. Владимир Маяковский // Очерки истории языка русской поэзии XX века. Опыт описания идиостилей. М., 1995. С. 363) в данном случае, как представляется, содержит в себе намёк на заглавие знаменитой книги Анненского “Кипарисовый ларец” (1910). “Заглавие сборника связано с кипарисовой шкатулкой, в которой хранились тетради стихов поэта” (Анненский И.Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. С. 569). Р.Д. Тименчик обратил наше внимание на то, что рифма “шкатулку” – “переулку” (ср. у Маяковского: “переулоч” – “шкатулоч”) употреблена и в связанных с Анненским строках “Царскоесельской оды” (1961) Анны Ахматовой: “В роковую *шкатулку*, / В кипарисный ларец, /А тому *переулку* / Наступает конец” (курсив наш. – О.Л.).

Сцену, изображающую Маяковского, “открывающего” слушателям (которых он отчасти презирает) стихи Анненского, находим, например, в мемуарах Корнея Чуковского: “Маяковский шагал особняком, на отлёте, и, не желая ни с кем разговаривать, непрерывно декламировал сам для себя чужие стихи – Сашу Чёрного, Потёмкина, Иннокентия Анненского, Блока, Ахматову. Декламировал сперва как бы в шутку, а потом всерьёз, по-настоящему” (Чуковский К.И. Современники. Минск, 1985. С. 329; здесь же, на предыдущей странице, описано чтение Маяковским – тем же слушателям – стихотворения “Нате!”).

Отметим, что мотиву “бабочки поэтиного сердца” из стихотворения “Нате!” находится соответствие у Анненского в “Бабочка газа”, где говорится о “сердце” лирического героя, которое, подобно бабочке, “жарко забилося” (ср. с устойчивым словосочетанием: “бабочка забилаась”). Мещанин в *калошах* (ср. у Маяковского: “взгромоздитесь, гряз-

ные, в калошах и без калош”) описан в строках Анненского “У Св. Стефана”:

Но крепа, и пальм, и кадил  
Я портил, должно быть, декорум,  
И агент бюро подходил  
В калошах ко мне и с укором

– образ вновь возникает в конце стихотворения: “Но смотрят загибы калош / С тех пор на меня, как живые”. А “мужчина” и “женщина” из второй строфы стихотворения Маяковского напоминают “мужа” и “жену” из стихотворения Анненского “Нервы (Пластинка для граммофона)”, тоже посвящённого изображению людей, укрывшихся в “раковины вещей”.

Таким образом, эта заметка отчасти противоречит утверждению Н.И. Харджиева, писавшего, что “сходства между Анненским и Маяковским нельзя искать в отдельных темах и стихотворениях...” (Харджиев Н.И., Тренин В.В. Указ. соч. С. 199). Зато вторую часть этого утверждения: “...но несомненно, что некоторые черты поэзии Анненского были близки Маяковскому в период его поэтического формирования” – заметка подтверждает полностью.





## “И ВОТ ОН, АВГУСТ...”

Л.Л. БЕЛЬСКАЯ,  
доктор филологических наук

*Но наше северное лето,  
Карикатура южных зим,  
Мелькнет и нет...*

А.С. Пушкин. “Евгений Онегин”

В русской поэзии издавна под воздействием российского климата сложилась традиция осенне-зимнего пейзажа: красочная, многоцветная и унылая осень, суровая, снежная, метельная зима. И весна тоже находит отклик в душе поэтов – с её первыми подснежниками и ландышами, пушистой вербой и пением жаворонка, тальми водами и весенними грозами. А что же лето? “Ох, лето красное! любил бы я тебя, / Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи” – всем нам памятна эта пушкинская жалоба.

Согласно исследованию М.Н. Эпштейна “Природа, мир, тайник вселенной” (М., 1990), летний пейзаж “эстетически наименее освоенный в отечественной поэзии” (С. 181), а наиболее “летними” поэтами были Лермонтов и Пастернак. Из трёх месяцев лета чаще изображается август – Эпштейн насчитал 13 стихотворений, у нас же получилось чуть меньше, так как учитывались только те произведения, в названии которых заявлена августовская тема.

Первыми, по нашим наблюдениям, стали активно употреблять заглавие “Август” символисты. Ранний Бальмонт в своём сонете “Август” (1894) описывает переход от лета к осени, от знойных дней к прохладе, от цветов к плодам и радуется наливным колосьям и снопам: “Отраден вид тяжёлого снопа...” (ср. у Лермонтова: “С отрадой, мно-

гим незнакомой, я вижу полное гумно”). Этот месяц приносит “отдых от жизни беспокойной” и “грустные мечты”, позолоченные листья и журавлиные крики: «А в небе – журавлей летит толпа / И криком шлёт “прости” в места родные». Но главное – сознание “мимолётности красоты” (вспомним пушкинское “мелькнёт и нет”).

Как ясен август, нежный и спокойный,  
Сознавший мимолётность красоты.

Если бальмонтковский август нам привычен, то у З. Гиппиус он “смотрит” чуть ли не октябрём: “пустыня дождевая”, “мокрая мгла”, “дневная ночь, ночные дни” (“Август”, 1904). “Солнце, где Ты?” – вопрошает поэтесса, – “Охолодев, во тьме, во сне, / Скользит душа, ослабевая, / К своей последней тишине”. Остаётся лишь молиться Солнцу и молить его: “О, просияй! Коснись! Сожги...”

Брюсовский август персонифицирован и предстаёт в образе античного отрока: “Здравствуй, август, венчан хмелем, / Смуглый юноша-сатир!” (“Август” из цикла “В поле”, 1907). Поэт приглашает его на пир (“Будь меж нами, гость желанный, / За простым лесным столом”) и любит августовским лесом.

Заплелись багрянцы клена  
В золотую ткань дубов,  
Но за ними – небосклона  
Синий круг без облаков.

Будем же наслаждаться летом, земными плодами и вином, любовными играми – вот смысл стихотворения.

Словно этот плод созрелый,  
Лето соками полно!  
Пей же с нами, чашей целой,  
Вечно жгучее вино!

А “Псковский август” М. Кузмина (1917) стилизован под русскую народную календарную песню, но модернизированную в футуристическом духе – с игрой в неологизмы.

Веселушки и плакушки  
Мост копытят козами,  
А заречные макушки  
Леденцеют розами. (...)  
Мельниц мелево у кручи  
Сухоруко машется.  
На берёзы каплет с тучи  
Янтарная кашаца.

Сожаление о мелькнувшем лете, проскользнувшее у Бальмонта гру-

стной ноткой в цикле “Август” (сб. “Тихие песни”, 1904) и одноимённом стихотворении (из “Кипарисового ларца”, 1910) Иннокентия Анненского, приобрело тоскливо-мрачное звучание. “Слёзы осени” у него дрожат на ветке клёна, а хризантема безнадежно припадает головой к “крышке гробовой” (в цикле); солнечные лучи сравниваются с улыбкой неудачливого игрока (“Так улыбается бледнеющий игрок, / Ударов жребия считать уже не смея”), а отцветающие растения – “только астры живы” – уподобляются похоронному шествию (в стихотворении).

Игру ли кончили, гробница ль ушлыла,  
Но проясняются на сердце впечатленья;  
О, как я понял вас: и вкрадчивость тепла,  
И роскошь цветников, где проступает тленье...

Так символисты намечают несколько интерпретаций августовской темы – праздник урожая, земные утехи, прощание с летом, увядание природы. Поздний Вяч. Иванов добавит к этому звездопад, несущий напоминания об умерших (“И скольких душ в огнях падучих / Мгновенный промелькнёт привет!”), и астрологические знаки Льва и Девы: “Предсмертным пылом пышет Лев”, “За гриву Дева Льва с небес влачит” (“Август” из цикла “Римский дневник 1944 года”).

Интересно, что формульную квинтэссенцию этих трактовок даёт Марина Цветаева в стихотворении “Август – астры...” (1917), где есть розы и астры, гроздь винограда и рябины, последние грозы, звёздный ливень и поцелуи: “Месяц поздних поцелуев, / Поздних роз и молний поздних! / Ливней звёздных – / Август!”. Есть и персонификация, и упоминание “имперского имени”.

Полновесным, благосклонным  
Яблоком своим имперским,  
Как дитя, играешь, август.  
Как ладонью, гладишь сердце  
Именем своим имперским:  
Август! – Сердце!

Центральный образ августа развёртывается “не динамически, а статически, не развивается, а уточняется”, и “стихотворение превращается в нанизывание ассоциаций по сходству, в бесконечный поиск выражения для невыразимого” (Гаспаров М.Л. Марина Цветаева: от поэтики быта к поэтике слова. – В кн.: Избранные статьи. М., 1995. С. 311). Это был один из первых опытов, предвещающих зрелую цветаевскую манеру. Это была поэтическая формула русского августа.

Могла ли Марина Цветаева предвидеть, что последний день “имперского” августа через четверть века (24 года) станет для неё смертельным, и в августовский мартиролог русских поэтов XX века (Н. Гумилёв, А. Блок) она впишет своё имя?..

Казалось бы, августовская тема не только чётко очерчена, но и по существу исчерпана (август жаркий и плодоносящий, прохладный и дождливый, листопадный и звёздный, пиришествственный и эротичный, великолепный и имперский, предосенний и увядающий), и поэты потеряли к ней интерес. К тому же, социальные бури не располагали к созерцательности.

Но прошло время, и вдруг появляется целая поэма “Август” (1932) Павла Васильева, в которой главный “герой” изображён с разных сторон – как явление природное и бытовое, как проявление человеческих чувств – и с щедрой живописностью.

Дубы и грозы валит август с ног,  
И каждый куст в бараний крутит рог.  
И под гармонь тоскует бабой пьяной.

Облик васильевского августа многогранен: то небесный (*зarya малины; месяц большерот; дождь идёт, как горлом кровь*), то земной – животный и растительный (*запах первых сот, птичьи коромысла, медвежий мох, жёлтые осы; пни, как гуси; подсолнуха хмельная голова; лисья шуба*), то человеческий (ярмарки, цирковые представления, любовные свидания). Он “буен во хмелю”, многоцветен и громогласен: серебро и золото, желтизна и синь; *щebetание птаx и трубы журавлей*, мычание телёнка, звуки скрипок и бубен, *сытый рёв туч и грохот дождевых запруд*. Да ещё он двупол. Как мужская особь, является в зверином и хищном обличье:

И вот он, август, роется во тьме  
Дубовыми дремучими когтями (...)  
Он прячет в листья голову свою –  
Оленью, бычью.

А в женском качестве – “рудой осени” – преобразуется в любящую, заботливую мать, кормящую грудью всех своих детей.

Ой, как они впились в твои соски,  
Рудая осень! Будет притворяться,  
Ты их к груди обильной привлеки...

Август осеняет и любовь лирического “я” и его возлюбленную с солнцем в волосах, с подсолнухами и травами в руках. Она, бродившая в лиственных лесах, вбирает в себя природную суть августа. “Ты слышишь в нём лишь щebetанье птахи, / Лишь листьев свист...” Лирический же герой приемлет его за всё, начиная от скрипа телег и летящих на добычу птиц и кончая страной с миллионом дворов, что “пестует ребят светловолосых”, и больше всего – за неистовство, буйство, кипение сил.

И в просветах алых,  
В круженьи листьев, яблوك и обвалах.  
В ослепших звездах я его пою!

Через несколько лет после “весомого, грубого, зримого” “Августа” Павла Васильева, а, возможно, “вослед” ему в любви к августу признаётся начинающий поэт Николай Майоров и начинает своё стихотворение “Август” (1939) с определения Маяковского: “Я полюбил *весомые* слова”, а далее перечисляет – “просторный август”, “бабочка на раме”, “сон в саду”. Он выбирает тот же размер, что и Васильев, – 5-стопный ямб, но приметы конца лета у него другие: желтеющая трава и падающие плоды, “полдневный зной” да жажда: “Во рту иссохло. Губы как зола. / Куда девать сгорающее тело?” Ответ на этот вопрос уводит сюжет в “сторону” спасительной влаги – омута для купания людей и подземных ключей для питания растений. И вот последние (ключи и растения) обрисованы сочными, грубоватыми мазками, напоминающими васильевский стиль: “Вползают в землю щупальцами корни, / Питая щедро алчные плоды...”, “Где в изобилие (так, кстати, была озаглавлена васильевская поэма в “Известиях” за 18 октября 1934 года), с запахами вин, / Как древний сок, живительная влага / Ключами бьёт из почвенных глубин”. Но матью Н. Майоров называет не землю, что традиционно, не осень, как П. Васильев, а воду:

И слышу я, как мир произрастает  
Из первозданной матери – воды.

Появление в 1953 году “Августа” Бориса Пастернака знаменовало новый этап в развитии августовской темы – поворот от описательных, пейзажных стихов к событийным. Стихотворение входит в цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и передаёт переживания, раздумья, религиозные искания как самого автора, так и героя романа “Доктор Живаго”. Пастернаковский “Август”, хотя и включённый в циклический круговорот времён года (“Март”, “Весенняя распутица”, “Лето в городе”, “Бабье лето”, “Осень”, “Зимняя ночь”), содержит немного пейзажных деталей: шафрановая косая полоса солнца и его жаркая охра, имбирно-красный лес, “горевший, как печатный пряник” и “нагой, трепещущий ольшаник”. А основное содержание стихотворения – вещий сон о собственной смерти автора, причём похороны происходят в день Преображения Господня (6 августа по ст. ст.). И он видит на кладбище смерть, похожую на землемершу, которая рассчитывает размер могилы; себя в гробу, “лицо моё умершее” и слышит свой голос “провидческий”, “не тронутый распадом” и слово своё прощальное. С кем и с чем прощается поэт? С “лазурью преображенной” и “золотом второго Спаса”, с “годами безвременщины” и с женской лаской (не без чувства вины).

Простимся, бездне унижений  
Бросающая вызов женщина!  
Я – поле твоего сражения.

А в финале – прощание с вольным полётом вдохновения и с творчеством, рождающим чудеса и созидющим “образ мира”.

Прощай, размах крыла расправленный,  
Полёта вольное упорство,  
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство.

Выступая от лица Живаго, Пастернак включает в стихотворение христианские мотивы, отказывается от прежней сложной ассоциативности и прибегает к четким и афористическим формулировкам. Однако автобиографизм просвечивает сквозь “чужое слово”. 6 августа 1903 года, в праздник яблочного Спаса 13-летний подросток упал с лошади и чудом остался жив, впоследствии он отмечал этот день как начало своего творческого пробуждения, то есть преобразования своей личности (см. заметку 1913 года “Сейчас я сидел у раскрытого окна...”). И “Август” посвящён 50-летию этого события. Оттого пророческий сон не воспринимается трагически, он как будто предсказывает не смерть, а чудо преобразования или бессмертие. Любопытно, что, вспоминая о смерти Пастернака, Инна Линянская назовёт своё стихотворение “Преобразование” (1986) и начнёт его так: “Он сам себе назначил этот август / С ошибкою в два месяца всего, / И чуткий страж, тысячеглазый Аргус, / Преображенье прозевал его”.

Таким образом, в отличие от предшественников, август заинтересовал Б. Пастернака не как месяц года с его природными и погодными условиями, а как определённый момент в авторской жизни. Так же относилась к августу Анна Ахматова, но считала его страшным, зловещим, потому что в этом месяце погиб Николай Гумилёв, был арестован её сын, вышло постановление ЦК, перекрывшее ей возможность печататься. Но она об этом лишь упоминала в своей лирике: “О, август мой, как мог ты весть такую / Мне в годовщину страшную отдать!” (“Сон” из цикла “Шиповник цветёт”, 1956). Зато об ахматовском августе написал песню “Снова август” (1969) Александр Галич: “Вот если бы только не август, / Не чёртова эта пора!”, “Но вновь приходит осень – / Пора твоей беды!”. Основной эпизод – стояние в тюремных очередях с передачами для сына. А первая беда дана в воспоминаниях поэтессы: “Таким же неверно-нелепым / Был давний тот август, когда (...) Стрельнула, как птица, беда”. Третья – в предчувствиях:

И разве не в августе снова,  
В ещё не отмеренный год,  
Осудят мычанием слово  
И совесть отправят в расход?!



Загорелый подросток,  
 выбежавший в переднюю,  
 у вас отбирает будущее, стоя  
 в одних трусах.

Поэтому долго смеркается. Вечер  
 обычно отлит  
 в форму вокзальной площади,  
 со статуей и т.п.,  
 где взгляд, в котором читается

“Будь ты проклят”,  
 прямо пропорционален  
 отсутствующей толпе.

Начинается стихотворение с общего, отстранённого рассуждения о маленьких городах в форме будущего времени, с местоимением “вы” – то ли единственного, то ли множественного числа. А вторая строка переносит нас одновременно в сегодняшний и вчерашний день, и “вы” явно прочитывается как по-английски вежливое “ты”: “Да и зачем вам она (правда. – Л.Б.), ведь всё равно – вчера”. И мы или погружаемся в воспоминания лирического героя (“вчера”), или присутствуем при его посещении – воображаемом – когда-то знакомых мест, где шумят вязы, где неведомый ландшафт с речкой известен только поезду, где есть вокзальная площадь со статуей, и всё заурядно – “и т.п.”. Внезапно возникают мотивы зеркала и памяти, столь любимые А. Ахматовой, что, наверное, не случайно, ибо Бродский хорошо знал её отношение к августу – “незабвенные даты” (см.: Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский – Соломон Волков. Диалоги. М., 1992. С. 6). Сам же Бродский признаётся, что не придаёт значения таким вещам и две-три существенные неприятности, случившиеся с ним в конце января, считает “чистым совпадением”. А ведь и умер он 28 января 1996 года. Как после этого не верить в Судьбу?

Так входит в стихотворение август сначала с гудящей пчелой, потом с “запертыми в жару ставнями”, затем появляется загорелый подросток в трусах, воплощая в себе “племя младое, незнакомое”, – и отнимает ваше будущее, занимая ваше место в мире. Не потому ли “долго смеркается”, что и для нас наступает позднее лето?

Первоначально кажется, что маленький город с его затхлым, заолустным бытом, заполненным ложью и сплетнями, находится в любой точке земного шара, но постепенно осознаёшь, что перед нами современный российский городишко. Там светофор схож с витязем, сделавшим карьеру из перепугья (чем не российская реальность?). Там ставни (не жалюзи) увиты сплетнею или плутом – с необычной последовательностью: сплетня опережает плуца. Там, наконец, ловишь озлобленный, агрессивный взгляд – даже в отсутствие толпы, – посылающий проклятия всему миру, в том числе “тебе” (а не “вам”): “Будь ты проклят”. Как это узнаваемо, не правда ли?

Если Пастернак показал в “Августе” свои похороны и прощание с жизнью, но во сне и с надеждой на “чудотворство”, то для Бродского это было не прощание с жизнью (вопреки мнению П. Вайля, утверждающего, что Бродский “не столько предсказал смерть, сколько попрощался с жизнью”), а последняя встреча с Россией – и без всяких надежд на понимание и любовь. Безусловно, не будь это последнее слово поэта, оно не воспринималось бы так трагически – как завещание.

Таковыми были русские поэтические “августы” в XX веке.

А какими они станут (и станут ли) в новом тысячелетии?..

*Цфат  
Израиль*





## ИЗ ФОЛЬКЛОРНОГО НАСЛЕДИЯ А.А. РЕФОРМАТСКОГО

*О.В. НИКИТИН*

Имя Александра Александровича Реформатского (1900–1978) широко известно представителям филологической науки, прежде всего – лингвистам-теоретикам. В его научной деятельности удачно совмещались яркие авторские идеи и практические методики изучения языка. В то время, когда одни направления не были “популярны” в науке, а другие считались ошибочными, А.А. Реформатский уверенно следовал собственному *alter ego* и удивительно, тонкому общепилологическому наитию подлинного исследователя языка. В поле его зрения постоянно находились такие разные, но по-новаторски глубокие и выношенные лингвистические пласты: от исследований знаковых теорий языка и методов структурной лингвистики в фонологии до типологического языкознания, лексикологии, морфонологии и др., ставших столь акту-

альными в последние годы. Интересовали его и сугубо практические вопросы применения научных идей в обучении, такие, как пунктуация и законы грамматики. О чём бы ни писал А.А. Реформатский, *традиция* и *импровизация* всегда отличали его научное творчество.

Публикуемая нами архивная запись характеризует А.А. Реформатского как талантливую филолога, способного даже в, казалось бы, неприметном отрывке народной песни найти и выделить только ему ведомые краски живого произведения народного искусства. В “Полосоньке” выразились и отголоски общественной жизни тех лет (предположительно время создания песни можно отнести к началу века): “В это время из похода / Шёл солдат, дитя народа, / Из Китая”, и реалистические картины изображения нелёгкой повседневной жизни крестьян. Всё же основной тон этой песни – напевно-романтический, а финал – традиционно оптимистический. В “Полосоньке” присутствует вполне ощутимый юмористический рисунок с тонкой иронией, недосказанностью. По-видимому, именно это художественно-образительное свойство песни и привлекло особое внимание А.А. Реформатского, ценившего выразительность народного слога, которая достигается порой пропуском, отсутствием нужного компонента, особым “недоговором”: “И всё-таки, – пишет он, – чего-то в конце не хватает: ведь последняя строфа осталась непарной!”. Композиция и слог песни, её образы, ритм, выраженные прежде всего в характерных для традиционных видов народного искусства словесных образах и полутонах, сближают “Полосоньку” с лучшими образцами фольклорных произведений прошлых времён, имевших сказовое, художественно обработанное содержание. Слова типа *дружочек*, *водица*, *сестрица* и др. постоянно присутствуют в русском фольклоре, наполняя ткань произведения образами и сюжетами, возвышенно-мифологическими по форме. Характерные повторы придают музыкальному строю “Полосоньки” ритмическую выразительность.

“Полосонька” была обнаружена нами при изучении личного фонда П.Г. Богатырёва, хранящегося в Архиве РАН (ф. 1651, оп. 1, ед.хр. 139, лл. 1–3). Там же помещены и другие, весьма оригинальные и колоритные фрагменты из народных песен, сказок, баллад (в том числе и цыганских), присланных П.Г. Богатырёву. Одна из них, вероятнее всего, и была передана (или прислана) А.А. Реформатским в 1960-е годы П.Г. Богатырёву, известному собирателю и исследователю фольклора славянских народов. После печатного варианта песни А.А. Реформатский поместил “Примечание”, раскрывающее историю своего знакомства с этим ярким образцом народного речетворчества (мы приводим его после текста песни – так же, как и в подлиннике). В начале же авторизованного машинописного варианта, чуть ниже названия песни “Полосонька”, припечатана следующая запись: “Народная песня, знаю с 1913 года”.

## ПОЛОСОНЬКА

Раз полоску Маша жала.  
Золоты снопы вязала,  
Молодая (2 раза и так везде)  
Истомилась. изомлела,  
То-то наше бабье дело –  
Доля злая.  
В это время из похода  
Шёл солдат, дитя народа,  
Из Китая.  
От пути он притомился,  
Возле бабы опустился:  
“Дай напиток”.  
“Я б дала тебе напиток,  
Да тепла моя водица: –  
Не годится”.  
“Нет ли хлеба, хоть кусочек?”  
“Нету, миленький дружочек,  
Одни крошки...  
Я полоску жать спешила  
И с собою захватила  
Лишь немножки...”

“Эко, правда, незадача, –  
Молвил воин, чуть не плача, –  
Наказанье!  
Делать нечего, сестрица,  
Нет ни хлеба, ни водицы...  
До свиданья!”

Девке парня стало жалко:  
Сух и строен, словно палка,  
Черноокий.  
Муж припомнился постылый,  
Старый, немощный и хилый,  
Недалёкий.

“Ты постой, постой, служивый,  
Сядем лучше в тень под ивой, –  
Солнце жжётся.  
Безо всяких изумлений  
Может, что для угощений  
И найдётся”.

Воин видит – баба пышет,  
Рубашонка грудь кольшет...  
Молодая!

Он подумал: нет преграды,  
Ущипнул, где было надо,  
Приседая.

“Не испортить бы обычья”, –  
Баба только для приличья  
Пропищала.

“Чорт паршивый! Не щипайся!  
Чорт сопливый, убирайся!”  
И упала.

Рожь высокая их скрыла,  
А что там происходило –  
Это тайна.

Только слышны были вздохи,  
Словно их кусали блохи  
Чрезвычайно.

Наклонясь над этой парой,  
Сыч облизывался старый,  
Сверху глядя.

И объят в пустыне скрытной,  
Ну, и парень ненасытный!  
Этот дядя.

Поздно вечером бабёнка,  
Словно с поля коровёнка,  
Страсть устала.

Муж с свекровкой долго ждали,  
Меж собою рассуждали:  
Выжнет Маша?

А над Машей ночь темнела,  
То-то наше бабье дело –  
Глупость наша!

Через год у Маши морда  
Смотрит весело и гордо:

Сын родился!

“Посмотри-ка, моя жёнка.  
Весь растёт в меня мальчонка!”  
Муж хвалился.

Про то знают лишь солдаты,  
Чьи растут у нас ребята –  
Молодые!

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Я эту песню слышал у тети Паши (Прасковьи Антоновны Дергуновой, урождённой Костомаровой) летом в селе Покровском на озере, Тверской губернии, Корчевского уезда. Но запомнил лишь в отрывках. Охотясь в Ярославской области (совхоз “Красный Октябрь” Борисоглебского района), я познакомился с Николаем Фёдоровичем Кузьминым (тогда был он бригадир, а ныне – председатель сельсовета). Николай Фёдорович помнил весь текст “Полосоньки”, но прошло несколько лет, пока я не поймал его в бане и не обязал зайти ко мне и записать песню. Он зашёл, сам записал, за что ему великая благодарность! Но я при перепечатке воспользовался некоторыми строчками, которые я сохранил в памяти с 1913 года, и ими улучшил текст. И всё-таки чего-то в конце не хватает: ведь последняя строфа осталась непарной!

Соединил и перепечатал  
*А.А. Реформатский*

*4 октября 1963 года*

“Полосонька” – лишь небольшая часть “поэтической лингвистики” А.А. Реформатского. Учёный обладал особенным художественным артистизмом и языковым чутьём, помогавшими ему верно понимать и чувствовать гармонию певческого слога, те оттенки и “асимметрии”, которые и создают сюжетную композицию. И природа звука едва ли не основной критерий. «Любой певец должен понимать тот текст, который он исполняет, и ту форму, в которой этот текст дан. При этом никак нельзя путать язык и письмо и “исполнять буквы”» (Реформатский А.А. Речь и музыка в пении // Вопросы культуры речи. Вып. 1. М., 1955. С. 199). Не теоретические формулы и модели, столь понятные строгому научному мышлению А.А. Реформатского, здесь выступают на первый план, а “созерцание мысли”. Не лингвистические парадигмы, а яркий “стиховой костюм”, словно одевающий своей особой формой мелодию слога. Отсюда становятся понятными и рассуждения учёного, порой кажущиеся нам парадоксальными. «Поэтому, – пишет он, – так хорошо стоять на тяге: тихо, никого нет, ждешь только хор-

канья, а, дождавшись, в него включаешься и либо мажешь, либо держишь в руках этого “чудака леса” (кулик явный, а попал в лес!), и думаешь о том глазе вальдшнепа, о котором писал Чехов, а от этого мысли идут далеко в разные стороны, пусть это в начале только презрительные ассоциации, но скоро они превращаются уже из механических сцеплений в ряды, имеющие свою “умственную” закономерность и радующую человека тем, что ему должно быть свойственно» (Реформатский А.А. Из дневниковых записей 1969–1976 гг. // Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. М., 1987. С. 262).

Какая бы область ни интересовала А.А. Реформатского, везде он прислушивался к звукам, оценивал их экспрессию, редкий, искусный “житейский тембр” голоса и музыки вообще – будь то знаменитые композиторы (М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков) и артисты (Качалов, Ермолова, Раневская) или же только ему знакомый народный сказитель – не просто “информант”, а приятный собеседник, со товарищ. Именно из речевого общения и поведения учёный выстраивал парадигмы и “асимметрии” в науке и, как он сам говорил: “Сейчас болею морфологией...” (Там же. С. 261). Ибо его полностью захватывало существо предмета – не нормативно-литературное, а “житейское”, но не рисованное или манерное, а самобытное, живое. И учёный старался подчеркнуть, выделить самое главное, запоминающееся. «Я помню одного сказителя, – замечает он в наброске “О тембре голоса человека”, – который пел, “сказывал” басом, а говорил “из вежливости” тенором» (Реформатский А.А. Лингвистика и поэтика. С. 260).

Примечательны и характеристики певческих признаков голоса в изображении А.А. Реформатского. В них яркая авторская метафора соединяется с морфологией языка, образуя единое целое, а сама фраза – уже сюжет, забыть который, прочитав однажды, невозможно. Вот некоторые его определения: “Без тембра речь скупа и скучна, как непосолённый суп или подсахаренное пиво” (Там же. С. 261). Или: «Вот два варианта: “скользкий” и “склизкий”. Говорят, что *склизкий* экспрессивнее по звукам. Ерунда. И *скользкий*, и *склизкий* имеют примерно те же звуки, и не они сами по себе экспрессивны, а то, что *скользкий* – нормативно-литературное, а *склизкий* – из другого лексического пласта. Всё дело в социальном, а не в символическом звуков. Поэтому так труден перевод синонимов, имеющих разную стилистическую окраску по принадлежности к разным лексическим пластам. Какая тут “символика” звуков!» (Там же).

Есть ещё одна деталь, сближающая строгие формулы теоретической лингвистики и фольклор. При внимательном изучении творческого наследия А.А. Реформатского можно убедиться, что их объединяет символика звуков и образов. Любопытна в этом отношении статья “О культуре языка в пении”, где он исследует произносительные особенности “певческого организма”, не только голос исполнителя и “пение

слов”, но и выявляет причины неправильного произношения (см.: Русское сценическое произношение. М., 1986. С. 212–218). И тут он остаётся верен нормам старомосковского произношения. Для себя А.А. Реформатский определил этот, быть может, один из основных законов исполнительского жанра так: «Может ли певец-исполнитель в угоду “правилам вокала” искажать произносительные нормы речи? Нет, не может. Следует особенно помнить, что стиль певческого произношения чаще всего “средний” и тем самым нормальный. Иногда может быть отступление в “высокий стиль”, который, однако, ничего общего с “манерничанием” (*Мазэпа*, сир-р-рэни и т.п.) не имеет. Прибегать к “низким” произносительным стилям можно только в “характерных” партиях и произведениях» (Вопросы культуры речи. С. 199).

Можно предположить, что русский песенный фольклор для А.А. Реформатского и представлял собой символику звуков, где есть и языковые погрешности (с точки зрения нормативности), и недопустимые в литературной речи отступления. Всё словесно-языковое строение традиционного произведения русского фольклора подчинено особой ритмике музыкальных “отрезков”. Не исключено, что в архиве А.А. Реформатского могли сохраниться и другие записи народных песен. Но, оценивая логику мысли Реформатского-учёного и Реформатского-собираателя и слушателя, замечаем одну закономерность: и в народном искусстве, и в речевых стилях, и собственно в звуковой структуре языка он искал и находил общие принципы, единые законы движения лингвистического времени. А звук, в его представлении, не механическое колебание, но *образ ... образ времени*.



## Лицейские учителя Пушкина об “истинном” красноречии и “мнимом”

*Л.К. ГРАУДИНА,  
доктор филологических наук,  
Г.И. КОЧЕТКОВА*

Пушкин написал в Лицее 130 стихотворений и уже здесь приучился серьезно работать над отделкой стиха. Товарищ, который сказал о Пушкине очень мало лестных слов, и тот признает, что “при всей наружной легкости его прелестных стихотворений, Пушкин мучился над ними по часам и суткам, и в каждом почти стихе было бесчисленное множество помарок”.

(И. Анненский. Пушкин и Царское Село).

Мысли о необходимости серьезной и вдумчивой работы над словом внушали юному лицеисту его замечательные учителя-словесники и, прежде всего, Н.Ф. Кошанский (1785–1831) и А.И. Галич (1783–1848). Это были незаурядные преподаватели – талантливые, интересные люди, которые любили и хорошо знали свое дело. Мысли об истинной культуре речи, о ценности и значимости слова и о многом другом, связанном с искусством красноречия, они изложили в своих известных трудах: Н.Ф. Кошанский. “Общая риторика” (1829 г.) и “Частная риторика” (1832 г.); А.И. Галич. “Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений, известная из немецкой библиотеки словесных наук” (1830 г.).

Долгие годы существовало превратное мнение, можно сказать, ложное предубеждение относительно той роли, которую сыграл Н.Ф. Кошанский в литературном образовании поэта. В связи с этим чаще все-

го цитируется стихотворение шестнадцатилетнего А.С. Пушкина – “Моему Аристарху” (1815 г.), адресованное Н.Ф. Кошанскому. Не случайно Пушкин называет Кошанского Аристархом. Известно, что Аристарх Самофракийский, греческий ученый (ок. 217–145 до н.э.), прославился тем, что его лингвистическая деятельность послужила развитию метода анализа текстов и грамматических принципов, которые впоследствии были положены в основу многих европейских грамматик. Это имя стало нарицательным для строгого и педантичного судьи. В стихотворении Пушкина учитель обрисован поэтом как “скучный проповедник”, дававший “уроки учености сухой”, которые ему изрядно досаждали:

А ты, мой скучный проповедник,  
Умерь ученый вкуса гнев!  
Поди кричи. брани другого  
И брось ленивца молодого,  
Об нем тихонько пожалев.

Интересную оценку этого стихотворения дает В.В. Вересаев в своей книге “Спутники Пушкина”: «Что касается послания Пушкина “Моему Аристарху”, то оно может служить только к чести Кошанского. Указания его, на которые возражает юноша – Пушкин, свидетельствуют о серьезном отношении к поэтическим начинаниям мальчика. Вот в чем, как видно из послания Пушкина, упрекал его Кошанский:

За рифмой часто холостой,  
На зло законам сочетанья,  
Бегут трехстопные толпой  
На “аю”, “ает” и на “ой”...  
Я ставлю (кто не без греха?)  
Пустые часто восклицанья  
И сряду лишних три стиха.

На это указывал Кошанский и требовал от Пушкина серьезной работы над отделкой стиха» (Вересаев В. Спутники Пушкина. В 2-х тт. М., 1993. Т. 1. С. 61–62).

По свидетельству многих лицеистов, Н.Ф. Кошанский был замечательным преподавателем: лекции его походили на доверительные беседы, отличались глубоким содержанием, занимательностью рассказа и яркими иллюстрациями из древней и современной поэзии и прозы. Известный лингвист Я.К. Грот вспоминал: “Мы любили Кошанского, с нетерпением ожидали его лекций и доверчиво показывали ему свои поэтические грехи”.

Требования Кошанского к языку лицеистов, к их первым поэтическим опытам были так строги не напрасно. Как учитель он прекрасно

понимал, что очень важно заложить основы языкового вкуса и мастерства еще в юности, дать представление о том, что “красноречие бывает истинное и мнимое” (Частная риторика. 3-е изд. СПб., 1836. С. 10).

В чем же видел он это различие? Прочитируем Кошанского: “Есть люди, кои полагают красноречие в громких словах и выражениях и думают, что быть красноречивым – значит блистать риторическими украшениями, и чем высокопарнее, тем, кажется им, красноречивее. Они мало заботятся о мыслях и их расположении и хотят действовать на разум, волю и страсти тропами и фигурами. Они ошибаются”.

Надо сказать, что многие мысли Кошанского об “истинном красноречии” очень современны. Особенно актуален его тезис о темной глубокомысленности речи некоторых ораторов: “Иные думают, что быть красноречивым – значит уметь выражать мысли необыкновенным образом, и чем темнее, тем, кажется им, глубокомысленнее, и, следовательно, красноречивее”. (Вот пример современного “красноречия” из высказывания одного депутата: “Это же эклектика. Данный аксиоматизм более чем дискутабелен”. Подобных примеров можно привести множество.) Мнимое философствование, схоластическое наукообразие совсем не так безобидны, как может показаться на первый взгляд. Таким способом нередко зарабатываются не только псевдонаучный и общественный авторитеты...

Для Пушкина уроки Кошанского не пропали даром. То “живое ощущение истины”, “сила чувств”, “убедительность (красноречие ума)”, к которым призывал Кошанский своих учеников, нашли в творчестве поэта совершенное выражение.

Александр Иванович Галич... Имя этого преподавателя Пушкин упоминает в дневниковой записи от 1 марта 1834 г., посвященной встрече на совещании участников “энциклопедического лексикона”: «Тут я встретил доброго Галича и очень ему обрадовался. Он был некогда моим профессором и ободрял меня на поприще, мною избранном. Он заставил меня написать для экзамена 1814 года мои “Воспоминания в Царском Селе”».

А.И. Галич был высокообразованным ученым. Как одного из наиболее способных выпускников Петербургского педагогического института, его отправили за границу для подготовки к профессорскому званию. В свое время были широко известны работы А.И. Галича по эстетике, философии и риторике (“Опыт науки изящного”, “История философских систем”, “Всеобщее право” и др.). В Царскосельском лицее он преподавал в 1814 году. В.В. Вересаев писал: “По отзывам бывших учеников Галича, младенческое простосердечие и добродушие соединились в нем с чертами легкого юмора и насмешливости” (там же. С. 63). В одном из своих стихотворений Пушкин так обращался к Галичу:

Апостол неги и прохлад,  
Мой добрый Галич,  
Ты Эпикуров младший брат,  
Душа твоя в бокале.  
Главу венками убери,  
Будь нашим президентом,  
И будут самые цари  
Завидовать студентам!

Читая эти строки, нельзя забывать, что используемая ранним Пушкиным поэтическая маска связана с образом последователя Эпикура, любителя наслаждений и земных радостей.

В своей риторике Галич писал: “наука красноречия” основывается на некоторых важных положениях:

“а) На счастливом изобретении мыслей, приличных предмету. Это – задача собственно гения.

б) На благоразумном расположении мыслей занимательных и на умении переливать их в душу слушателя или читателя...

с) На изложении или выражении мыслей словами, речениями, оборотами, долженствующими иметь столько чувственного совершенства, ... сколько то может быть совместно с легким и ясным обозрением” и т.д. (Галич А.И. Теория красноречия для всех родов прозаических сочинений. СПб., 1830. С. 1).

Обращает на себя внимание, что определение и выделение основных категорий и признаков “совершенного языка”, как считал Галич, регламентируется лишь стремлением к смысловой точности и выразительности.

В условиях новой, развивающейся стилистической практики употребления литературного языка первой половины XIX века, когда сместились границы между провозглашенными в XVIII в. тремя стилями, Галич в стилистической теории не мог опереться на теорию трех стилей и предложил свое видение совсем иных стилей, в основе использования которых лежали новые принципы. Он писал: “Разность обрабатываемого предмета, цель сочинения и особенное свойство писателя определяют многие подчиненные роды слога. Их считается шесть: 1) сухой, 2) простодушный, безыскусственный, 3) цветущий, щеголеватый, кудрявый, 4) растянутый, обильный, 5) сжатый, 6) пылкий, страстный (патетический), увлекающий, стремительный” (там же. С. 69).

Сам Галич, по воспоминаниям современников, выражался ясно и благородно. Это был человек, глубоко преданный науке. Как писал один из слушателей лекций Галича, “его одушевляет чистая, высокая любовь к истине, отчего беседы его не только полезны, но и увлекательны”.

Возможно, язык риторик, написанных учителями Пушкина, сейчас воспринимается как устаревший, безнадежно отставший от достигну-

того в наши дни научного уровня. Однако вечные истины, связанные с основами обучения культуре речи и культуре мысли, и ныне остаются неизменными. Ведь не из пустого любопытства и подражания вспыхнувшей моде в современных преподавательских кругах в течение последних десяти лет не угасает интерес к риторике. По-прежнему, как и в XIX веке, остается весьма важным воспитание хорошего вкуса и чувства слова при овладении богатствами родного языка. А это возможно лишь при знании существующих правил (грамматик, стилистик, риторик и словарей), чтении образцовых авторов, а по существу достигается, в конечном итоге, лишь собственными упражнениями и в письме, и в устной речи при ежедневной практике.

Нельзя считать случайностью тот факт, что Царскосельский лицей воспитал для России плеяду замечательных деятелей русской культуры, таких, как А.М. Горчаков, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер, И.И. Пущин, не говоря уж о гениальном А.С. Пушкине. Конечно, поэтический дар Пушкина формировался и шлифовался не без влияния той среды, в которой он жил и получал образование. В его блистательном афоризме

Служенье муз не терпит суеты;  
Прекрасное должно быть величаво –

чувствуются отголоски тех эстетических уроков, которые он получил в юности. В год двухсотлетнего юбилея со дня рождения А.С. Пушкина мы не можем не вспомнить царскосельских преподавателей, которые пробуждали и поддерживали его стихотворный талант, учили ценить, любить русское слово, а он сумел наполнить его звуками своей волшебной лиры.

## “Темное” слово *судьба*...

В.П. МОСКВИН.

доктор филологических наук

Для большинства современных читателей русской классики остаются во многом непонятными такие, к примеру, употребления слова *судьба*, как *свершить судьбу*, *судьба сбылась*, *судьбы Всевышнего*, *последняя судьба* и мн. др. Обращение к толковым словарям не дает результата: значения, в которых употреблено это “темное”, по выражению В. Соловьева, слово в приведённых выше контекстах, не зафиксированы ни одним из современных словарей русского языка.

Одно из общеизвестных значений слова *судьба* связано с представлением о “сверхъестественной силе, предопределяющей все события в жизни людей” (Философский словарь. М., 1972). В этом значении данное слово представлено в текстах двумя орфограммами, что, вероятно, отражает разное (от иронии и безразличия до суеверного трепета) отношение носителей языка к соответствующему понятию: “Недолго битва продолжалась; Улан отчаянно играл; Над стариком судьба смеялась – И жребий выпал... час настал” (Лермонтов. Тамбовская казначейша); “Скудны ненужные ласки, Безразлична земная Судьба” (Брюсов. Все ближе...).

Отдельно отметим употребление слова *судьба* в не зафиксированном словарями значении “индивидуальная судьба”. В этом случае при данном слове становится возможной позиция определения (*чья* судьба), открытая либо для наименований лиц, находящихся под властью данной “индивидуальной” судьбы, либо для соответствующих притяжательных местоимений, например: “Но судьба Шуйского противилась такому концу благословенному” (Карамзин. История государства Российского); “А где-то судьба моя прячет Ключи у стелного костра, И спутник ее до утра В багровой рубахе маячит” (Тарковский. Оливки). В этом значении слово *судьба* встречается в написаниях только со строчной буквы.

Слово может обозначать не только высшую силу, но и ее волеизъявление, приговор: “В пустыне в полночь я вставал И пред тобой, мой Бог, молился; Свои грехи воспоминал И мудрости Твоей дивился... Как правы все твои судьбы!” (Ф. Глинка. Карелия, или Заточение Марфы Иоанновны Романовой). В этом значении слово используется преимущественно в форме множественного числа: *судьбы*, *судеб* и устар. им. п. *судьбы* (ни в одном из современных словарей этот акцентный вариант не отмечен), р.п. *судеб*. В словаре В.И. Даля слово *судьба* “волеизъя-

явление высшей силы” зарегистрировано в форме множественного числа (с ударением на последнем слоге: *судьбы*) и толкуется как “провидение, определение Божеское, законы и порядок вселенной, с неизбежными, неминуемыми последствиями их для каждого”. В этом значении для слова характерна следующая лексическая сочетаемость: *судьбы Божии* (Даль), *судьбы Всевышнего*: “Судьбы Всевышнего непостижимы для ума человеческого” (Карамзин. История государства Российского); *судьбы Промысла*: «Пушкин говорил о судьбах Промысла, выше всего ставил в человеке качество “благоволения ко всем»» (Франк. Религиозность Пушкина). Характерно, что слово *судьба* в указанном значении используется в тех же контекстах, что и слово *приговор*: “Судьбы свершился приговор!” (Лермонтов. Смерть Поэта); “Судьбы Божии совершились: Россия подпала игу народа чуждого” (И.С. Тургенев. Рец. на кн.: Путешествие по святым местам русским. СПб., 1836); “Судьба свершилась, о мой сын!” (Пушкин. Руслан и Людмила).

Значение “волеизъявление высшей силы” современные словари у слова *судьба* не фиксируют.

Нами зарегистрирован любопытный пример использования слова *судьба* не как “волеизъявление, приговор высшей силы”, а в более широком смысле – “решение, приговор”: “Лепид, Октавий, Марк Аврелий Судьбы завтра изрекут: Иль самовластие на троне, Или свободный Рим и Брут” (Полежав. Видение Брута). Возможность такого употребления слова, к сожалению, также не отмечена словарями. Между тем, именно этот смысл представляется исконным, исходным: еще П.Я. Черных предположил, что развитие значений слова *судьба* могло происходить по схеме “приговор” > “божий суд” (“приговор небесных сил”) (Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 2. М., 1994. С. 217). В свою очередь, существительное *судьба* в значении “приговор, решение” является производным от глагола *судить*: “Судьба – от *судить*, как *борьба* – от *бороть*, как *женитьба*, *свадьба* от *женить*, *сватать*” (А. Ромм. Письмо о судьбе. См. Гаспаров М.Л. “Письмо о судьбе” Александра Ромма // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994. С. 216).

В текстах XIX – начала XX вв. слово *судьба* активно использовалось в значении “то, что назначено испытать”, “то, что суждено”: “И наконец я видел без покрова Последнюю судьбу всего живого” (Е.А. Баратынский. Последняя смерть), ср.: “последнее из того, что суждено испытать всему живому” (то есть смерть). В этом случае при данном слове открывается позиция адресата волеизъявления (приговора) высшей силы, представленная приименным родительным падежом (*последняя судьба всего живого*). Иногда получают выражения и адресат (родительным падежом), и субъект волеизъявления (родительным падежом с предлогом *от*): “Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека – от Господа” (Библия).

В анализируемом значении слово *судьба* сближается со словом *жребий* – не только в смысловом плане, но также и по своей лексической сочетаемости, ср.: *выпал, достался жребий и выпала, досталась судьба*, например: “Вы у меня добрая, прекрасная, ученая; отчего же вам такая злая судьба выпадает на долю?” (Достоевский. Бедные люди); “Иная судьба досталась Амелии” (Коган. Очерки по истории западноевропейских литератур). Строго говоря, *судьба* (равно как и *приговор*) должна быть *назначена, суждена* человеку, а не *выпадать* (подобно случайному жребию). Ослабление регулирующего влияния внутренней формы (*судьба < судить* “назначать”) приводит к тому, что контексты *суждена* и *выпала* становятся для слова *судьба* в указанном значении равно возможными, ср.: “Мое мнение о Гайдаре таково: это наш Стивенсон, и ему суждена та же судьба, что выпала на долю знаменитого писателя-романтика, которого Гайдар, конечно, читал не бесполезно для себя” (Д. Урнов. Рец. на кн.: Тимур Гайдар. Голиков Аркадий из Арзамаса. М., 1988).

Значение слова *судьба* “то, что назначено испытать”, “то, что суждено” не зарегистрировано ни одним из толковых словарей русского языка.

Традиция такого (далеко не полного) лексикографического описания системы значений слова *судьба* сложилась в силу обстоятельств, не зависящих от воли лексикографов того времени, в послереволюционный период. Непростую судьбу этого слова разделили – по вполне понятным теперь причинам – и многие другие слова русского языка, содержание которых так или иначе связано с религией, мистическими и суеверными представлениями.

Приведем очень показательную в этом плане выдержку из выступления Д.Н. Ушакова при обсуждении проспекта семнадцатитомного “Словаря современного русского литературного языка” (1948–1965): «Далее. Есть очень серьезное соображение насчет религиозных слов. Так вот, в рецензии на наш первый том в “Литературной газете” прямо говорится: “Словарь похабный” и проч. Этому очень скоро поверили, и все на нас косились. Года полтора мы прожили в таком положении, что не знали, как быть дальше. Сейчас особенно доказывать это как будто не приходится, но все-таки иногда встречаются лица, которые советуют, что число их надо уменьшить. У нас статья на слово *бог* была полтора столбца. “Много!” – говорят. Ну, давайте опустим фразеологию. А в *боге*-то фразеология и важна была. Мы ничего не могли сделать и выпустили очень много» (Ушаков Д.Н. Выступление по вопросам лексикографии // Ушаков Д.Н. Русский язык. М., 1995. С. 259). Следствия таких вынужденных решений ощутимы и сейчас.



## Комфортабельный или комфортный?

В.И. КРАСНЫХ,  
кандидат филологических наук

Среди однокоренных паронимов, слов, близких по форме, по звучанию, а часто – и по значению, существует довольно много таких, правильное употребление которых вызывает затруднение. В первую очередь это относится к паронимам-прилагательным (адъективным паронимам), поскольку их количество в несколько раз превышает число паронимов, входящих в состав других частей речи. Наличие общей корневой части во многих случаях является причиной возникновения ложных ассоциаций, что приводит к ошибочному словоупотреблению. Подобные случаи ранее уже рассматривались на страницах журнала “Русская речь” (см., в частности, статью Е.М. Лазуткиной в № 6 за 1998 г.).

Положение осложняется тем, что за последние годы, насыщенные социально-политическими событиями и переменами, происходят и очень серьезные языковые изменения, в том числе интенсивные семантические преобразования. Как справедливо пишет акад. В.Г. Костомаров, “расширяется и специализируется значение многих слов, по той или иной причине попавших в общественно значимый контекст” (Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. М., 1994. С. 114). В частности, стремительно расширяется сфера использования многих прилагательных-паронимов и их сочетаемость, результатом чего является формирование новых значений (или оттенков значений) и их актуализация. С другой стороны, часть устаревших паронимов уходит из активного употребления. Особенно ярко эти процессы проявляются на страницах периодической печати.

В предлагаемых заметках мы хотели бы рассмотреть некоторые наиболее сложные и интересные случаи современного употребления адъективных паронимов, прежде всего таких, как *комфортабельный* – *комфортный* и *элитарный* – *элитный*, что, на наш взгляд, достаточ-

но наглядно и убедительно иллюстрирует указанные семантические преобразования.

### Комфортабельный – комфортный

Слову *комфортабельный* (впервые зафиксированному В.И. Далем) в толковых словарях и словарях иностранных слов традиционно дается (с небольшими вариациями) следующее толкование: “Отличающийся комфортом, удобный, уютный”. В настоящее время это слово широко употребляется с существительными, обозначающими различные помещения (преимущественно жилые), транспортные средства, а также некоторые их компоненты: *жилье, жилище, дом, гостиница, отель, пансионат, коттедж, дача, комната, гостиная, спальня, столовая, кухня, кабинет, номер* (гостиницы), *приемная, зал* (спортивный или в ресторане), *пляж, бассейн, сауна, солярий; поезд, самолет, лайнер, автобус, автомобиль; вагон, купе, каюта, лифт, диван, кресло* и некоторые другие.

С абстрактными существительными типа *жизнь, состояние, условия, климат, среда* и др. это слово не сочетается, хотя единичные случаи такого ошибочного употребления все же иногда встречаются.

Значительно сложнее обстоит дело со словом *комфортный*, которое часто рассматривается в словарях в качестве синонима к прилагательному *комфортабельный* и в настоящее время, по мнению акад. В.Г. Костомарова, “стало популярнее”, чем *комфортабельный*. В толковом словаре Д.Н. Ушакова и в академическом Словаре современного русского литературного языка в 17-ти томах (в дальнейшем – БАС) это слово с пометой “устар.” (устарелое) толкуется как “то же, что комфортабельный”, причем в иллюстративных примерах в БАС, взятых из литературы XIX века, даются сочетания “комфортная комната” и “комфортная гостиная”. Очевидно, в XIX веке указанные паронимы употреблялись как синонимы.

Однако в академическом Словаре русского языка в 4-х томах, изд. 2 (в дальнейшем – МАС) делается уже первый шаг в сторону разграничения этих паронимов – помимо традиционной ссылки на *комфортабельный*, приводится следующий оттенок значения у слова *комфортный*: “Такой, который благоприятно отражается на самочувствии, доставляет приятное ощущение” (*комфортные условия*).

К сожалению, в словаре С.И. Ожегова под ред. Н.Ю. Шведовой (23-е изд. М., 1990) слово *комфортный* не выделяется в качестве отдельной словарной статьи, а дается (без толкования и иллюстративных примеров) в словарной статье на *комфорт*.

В словарях иностранных слов последних лет (“Словарь иностранных слов”, изд. 14-е. М., 1987 и “Современный словарь иностранных слов”, СПб, 1994) упомянутый ранее оттенок значения слова *комфортный*

уже вытесняет его традиционное толкование, в результате чего этому слову можно дать следующее определение, соответствующее его современному употреблению: “Наиболее благоприятный для нормальной жизнедеятельности организма, доставляющий приятные ощущения”.

Это свидетельствует о том, что происходит окончательное разграничение значений и сферы употребления рассматриваемых паронимов, и слово *комфортный* уже практически не употребляется с конкретными существительными, обозначающими помещения и средства передвижения, а сочетается, как правило, лишь с абстрактными существительными: *жизнь, условия, обстановка, среда, состояние, климат, пребывание, отдых, путешествие, поездка, перелет, круиз, ночлег и даже секс*. Вот несколько примеров, иллюстрирующих сказанное: “Красная Поляна пользуется большой популярностью у любителей первозданной природы и поклонников комфортного отдыха в горах” (Профиль. 1999. № 2); “Мы постараемся сделать ваше пребывание... как можно более комфортным” (Комс. пр. 1999. № 10); “Ничто не скрепляет семью так, как беспроблемный комфортный секс” (Домашний очаг, 1999. Февраль).

### Элитарный – элитный

Интересна словарная “судьба” паронимов *элитарный* и *элитный*. Как ни странно, ни в словаре Д.Н. Ушакова, ни в БАС нет специальной словарной статьи на *элитарный*. В МАС и словаре С.И. Ожегова *элитарный* рассматривается как прилагательное к *элита* (в знач.: “лучшие представители общества или какой-либо его части”), а в указанных ранее словарях иностранных слов – как “относящийся к элите (в том же значении), свойственный элите”.

В словаре-справочнике “Новые слова и значения” (М., 1984), помимо указанного значения слова *элитарный*, дается и второе его значение: “Связанный с буржуазными теориями о естественном разделении общества на избранное меньшинство, призванное занимать в нем ведущее положение, и массу народа” (например, *элитарная культура, элитарное искусство*).

Исходя из этого и основываясь на анализе примеров, мы предлагаем следующее толкование слова *элитарный*: 1. Относящийся к элите (в значении “наиболее видные представители общества или какой-либо привилегированной группы людей”), свойственный элите, предназначенный для нее; привилегированный; престижный. 2. Исключительный, избранный, доступный немногим.

В первом случае слово *элитарный* сочетается обычно с такими существительными: *образование, учебное заведение, школа, университет, лицей, колледж, гимназия, войска, воинская часть, подразде-*

ние, клиника, больница, дом, жилье, квартира, кладбище, клуб, бассейн, курорт, санаторий, детский сад, место отдыха, вид спорта, отель и др. Например: “Оба сына плюнули на свое элитарное образование, занялись сомнительным бизнесом” (Дашкова. Никто не заплачет); “Непременный атрибут образа жизни состоятельного человека, элитарные квартиры за последние пять месяцев упали в цене на 30–40%” (Профиль. 1999. № 3).

Во втором случае круг существительных, сочетающихся со словом *элитарный*, значительно уже (*искусство, культура, живопись, музыка, кино, театр, балет, литература, писатель, художник, композитор, читатель, зритель* и некот. др.), и относятся они исключительно к интеллектуальной сфере деятельности человека. Например: «Нашему мировоззрению чуждо стремление делить культуру на “элитарную” и “массовую”» (Журналист. 1970. № 9); “Зелинский писал для элитарного читателя и поэтому суть гетевского стихотворения не излагал” (Богат. Письма из Эрмитажа).

Что же касается паронима *элитный*, то в упомянутых толковых словарях и словарях иностранных слов это прилагательное до последнего времени толковалось только применительно ко второму значению слова *элита* – “лучшие, отборные семена, растения и животные”, т.е. употребление слова *элитный* в течение многих лет носило только специальный характер и ограничивалось исключительно областью растениеводства и животноводства (например: *элитные семена, сорта пшеницы, элитная кукуруза, элитное животноводство, элитные коровы*).

Однако в последнее время слово *элитный*, как и ранее рассмотренное слово *комфортный*, также попало в “общественно значимый контекст” и подверглось серьезным семантическим преобразованиям – расширились его лексическое значение и сочетаемость, что представляет существенный интерес для науки и современных носителей языка. Это новое, более широкое значение можно сформулировать следующим образом: “Лучший, отборный, наиболее качественный”. Круг существительных, употребляемых с паронимом *элитный* в этом значении, быстро, буквально на глазах расширяется, в него втягиваются все новые и новые слова: *жилье, дом, квартира, больница, войска, воинская часть, подразделение, силовые структуры, генерал, офицер, ресторан, клуб, школа, детский сад* и даже *водка*. Поскольку это сравнительно новое явление, его необходимо проиллюстрировать большим количеством примеров:

“Спрос на элитное жилье не исчез. Просто поменялись представления о нем” (Профиль. 1999. № 3); “У нас было уникальное предложение: готовые элитные дома с прекрасной отделкой, со всем оборудованием” (Деньги. 1999. № 4); “Моя Светланка способной оказалась: я ее в элитный садик отдала. Но за него надо выложить 400 рубликов” (Ра-

ботница. 1998. Октябрь); «Фирменная водка “Левша” признана Всероссийским выставочным центром лучшей элитной водкой...» (Профиль. 1999. № 3).

При этом следует обратить внимание на то, что круг существительных, употребляемых с прилагательным *элитный* в рассматриваемом значении и с прилагательным *элитарный* (в 1-м значении), частично совпадает, в результате чего в ряде случаев могут образовываться паронимические словосочетания, на первый взгляд напоминающие синонимические конструкции, но на самом деле различающиеся по смыслу: *элитарное* и *элитное жилье*, *элитарный* и *элитный дом*, *элитарная* и *элитная квартира*, *элитарная* и *элитная больница*.

Если мы употребляем словосочетания *элитарное жилье*, *элитарный дом*, *элитарная квартира*, *элитарная больница*, то имеем в виду, что эти объекты предназначены или принадлежат элите, т.е. избранной, высокопоставленной публике. Если же эти существительные употребляются с прилагательным *элитный*, то в этом случае речь идет о высоком качестве жилья и обслуживания, независимо от того, кому оно принадлежит или для кого предназначено.

Аналогичным образом, если мы говорим: *элитарное подразделение*, то имеем в виду, что оно укомплектовано привилегированными (часто потомственными) представителями военной элиты и является весьма престижным; когда же употребляется сочетание *элитное подразделение*, то имеется в виду, что это одно из лучших, наиболее подготовленных в профессиональном отношении подразделений.

Таким образом, проведя небольшой сопоставительный анализ двух пар паронимов *комфортабельный* – *комфортный* и *элитарный* – *элитный*, в которых вторые компоненты активно изменяют и расширяют в последнее время свое первоначальное значение и круг сочетаемости, мы приходим к выводу, что необходимо четкое разграничение этих паронимов, не являющихся синонимами. Все это, безусловно, должно найти адекватное отражение в словарях современного русского языка.

## Язык прессы



## Свобода от порядка

Н.В. МУРАВЬЕВА,  
кандидат филологических наук

Все мы хорошо знаем, что в русском языке свободный порядок слов. Некоторые понимают эту свободу так: где хочу, там и ставлю слово в предложении. Однако если мы возьмем простую фразу “Вчера он вернул мне сто рублей” и попробуем порядок слов в ней свободно изменять, то мы увидим, что абсолютной свободы здесь нет: существуют правила – осознаваемые нами или неосознаваемые, – следуя которым, мы располагаем слова в предложении. Между тем в газетных и журнальных текстах эти правила нередко нарушаются. Покажем основные случаи, когда свободное отношение к порядку слов в предложении приводит пишущего к ошибке.

Случай 1. “Предполагается, что указ № 2 о начале премьером временного исполнения обязанностей будет подписан незадолго до хирургической операции, а третий – о прекращении временного исполнения обязанностей президента главой кабинета – по ее окончании” (Труд. 1996. 21 сент.) – грамматически единое сочетание *начало временного исполнения обязанностей* разрывается словом *премьер*, понять эту фразу без повторного чтения трудно. Такого же типа ошибки будут в следующих газетных фразах: «Даже если они и войдут в салон, то про-

сто не обратят на “обработанного” г-жой Деревягиной безбилетника внимания» – разрывается единое сказуемое, между тем, если нужно было усилить эту “вставку”, достаточно было поставить ее до сказуемого; «Для этого он вполне считает достаточным следующий факт: “Мы прошли ту стадию, когда нас не понимали”» – обстоятельство отрывается от главного слова (прилагательного); “Конференция в Музее русского меценатства. В программе интереснейшие будут доклады” – согласованное определение отрывается от главного слова (имени существительного); если нужно было подчеркнуть качество докладов, можно было просто поместить определение в конец предложения.

Случай 2. «Президентские выборы определили вовсе не “окрас” ставропольского аграрного сектора, справедливо протестующего в местной прессе после “краснополосных” определений в свой адрес. Они стали лишь лакмусовой бумажкой того социально-экономического краха, правового, кадрового, от которого шла речь выше» (РГ. 1996. 11 июля) – из-за неудачного места определений *правовой, кадровый* (их необоснованной инверсии) они становятся логически ударными и более важными, чем определение *социально-экономический*, что вряд ли входило в замысел журналиста; “Поэтому у них не бывает совсем ссор” (Мой мир. 1998, 12 окт.) – необычное место слова *ссоры* акцентирует его, хотя общий смысл фразы подсказывает, что ударным здесь должно быть сочетание *совсем не бывает*. Такие необоснованные инверсии встречаются в газетах и журналах очень часто: “Прямого силуэта пуловер задуман как захватывающая игра цветов и геометрического узора и связан по схеме лицевой гладью” – несогласованное определение *прямого силуэта* надо поставить после главного слова *пуловер*; “Таковы нынешние, увы, нравы!” – междометие *увы* надо поставить рядом со словом, к которому оно относится: “Таковы, увы, нынешние нравы!”; «Мне показали размером меньше спичечного коробка из белой пластмассы с торчащими в две стороны проводами и с припаянными внутри мелкими детальками “жучка”, самодельное подслушивающее устройство» – несогласованное определение без всякой необходимости располагается здесь до существительного, к которому относится.

Случай 3. “В столице в сфере частного извоза спрос превышает предложение. Стоит вам махнуть рукой, как рядом сразу остановятся несколько машин” (МН. 1996. № 6) – так как это первая фраза текста, слово *спрос* может быть только подлежащим, но тогда возникает противоречие со вторым предложением: чтобы избежать этого, надо поменять местами слова *спрос* и *предложение* – “предложение превышает спрос”.

Часто двусмысленность возникает потому, что какое-то слово в предложении оказывается между такими двумя словами, с которыми оно одинаково может быть связано: “Вместо привычного забора-сетки – персонажи сказок, сделанные из дерева и гнutoго металла. Поскольку

ку такой забор не запирался, в выходные площадки детсада осаждали дети всей округи” (МН. 1996. № 6). Такая же синтаксическая двусмысленность в предложениях: “Однако желающих питаться зеленой колбасой и получать джинсы по талонам в университете не нашлось” (МК. 1996. 21 июня); “А недавно, рассказывает Джеймс Майкл, открылась даже похоронная контора для животных с крематорием” – здесь возникает “ложная” мысль о животных, которые владеют крематорием; “Новый руководитель Большого Владимир Васильев и исполнительный директор Владимир Коконин начали вроде бы прогрессивные преобразования – и пожар вспыхнул опять” – остается непонятным, о чем хочет сказать журналист: или о том, что руководство театра начало действовать очень неуверенно, или о том, что преобразования были не совсем прогрессивными.

Итак, вот основные правила, о которых стоит помнить, если мы хотим, чтобы свобода от порядка (слов в предложении) не обернулась бедой для тех, кто наш текст читает:

- 1) не нарушай связи между словами одной грамматической группы (скажем, определение + определяемое слово; сказуемое + обстоятельство; сказуемое + дополнение); если между словами, тесно связанными грамматически и по смыслу, ставится какое-то другое слово, получаем “синтаксический перебив”;
- 2) не создавай случайной, необоснованной инверсии;
- 3) не размещай рядом со словом таких “соседей”, с которыми оно может соединиться грамматически, хотя по смыслу связей между ними нет; не создавай двусмысленности порядком слов.



## Пушкинский Арион: античный? христианский?

М.И. ЧЕРНЫШЕВА,  
доктор филологических наук

Нас было много на челне;  
Иные парус натягали,  
Другие дружно упирали  
В глубь мощны веслы. В тишине  
На руль склонясь, наш кормщик умный  
В молчанье правил грузный челн;  
А я – беспечной веры полн, –  
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн  
Измял с налету вихорь шумный...  
Погиб и кормщик и пловец! –  
Лишь я, таинственный певец,  
На берег выброшен грозою,  
Я гимны прежние пою  
И ризу влажную мою  
Сушу на солнце под скалою.

Каждое поколение прочитывает Пушкина под своим углом зрения, сообразуясь со своими знаниями и настроениями эпохи. Это объясняет, почему к стихам Пушкина появляются комментарии, носящие отпечаток своего времени, комментарии, информирующие об очевидном, лежащем на поверхности, но не затрагивающие глубинные слои поэтических ассоциаций: “Иносказание о декабристах и Пушкине, написано 16.07.1827 г. – первая годовщина казни (13.07)”.

В самом деле, на первый взгляд, кажется, что Пушкин сравнивает себя со спасшимся Арионом, древнегреческим певцом, “несравненным

кифаредом”, как назвал его Геродот. Но у Геродота в мифе о спасении Ариона нет ничего общего с аллегорическим эпизодом, рассказанным Пушкиным.

Арион, нажив большое богатство в Италии и Сицилии, решил возвратиться в Коринф. Доверяя только своим землякам, он нанял у коринфских моряков корабль. Однако корабельщики задумали выбросить Ариона в открытое море и завладеть его богатствами. Когда корабль был уже далеко от берега, Арион догадался об их злом умысле. Он умолял сохранить ему жизнь в обмен на сокровища, но корабельщики были неумолимы. Арион упросил только позволить ему перед смертью спеть, пообещав, что после этого он сам лишит себя жизни. “Тогда корабельщики перешли с кормы на середину корабля, радуясь, что им предстоит услышать лучшего певца на свете. Арион же, облачаясь в полный наряд певца, взял кифару и, стоя на корме, исполнил торжественную песнь. Окончив песнь, он, как был во всем наряде, ринулся в море. Между тем корабельщики отплыли в Коринф, Ариона же, как рассказывают, подхватил на спину дельфин и вынес к Тенару. Арион вышел на берег и в своем наряде певца отправился в Коринф” (Геродот. История в девяти книгах. Перевод и примечания Г.А. Стратановского. Л., 1972. Кн. 1.24).

Как видим, у Пушкина от античного мифа осталось только имя певца *Ариона*. Корабельщики в мифе – просто разбойники, а не единомышленники, сплоченные общей целью, как у Пушкина: “Нас было много на челне; / Иные ларус напрягали, / Другие дружно упирали / В глубь мощны веслы...”.

Кормщик в мифе, надо думать, – предводитель шайки злоумышленников, в то время как у Пушкина он – “кормщик умный” (*кормщик* – “рулевой, кормчий” – Словарь языка А.С. Пушкина. М., 1957. Т. II).

В мифе Арион поет последнюю трагическую песнь перед неизбежной смертью – пушкинский Арион, напротив, полон надежд и веры в благополучный исход дела: “А я – беспечной веры полн, – / Пловцам я пел...”.

Весь набор образов: и сплоченные *корабельщики* (ниже Пушкин назовет их собирательно “пловец”, т.е. пловцы, по-видимому, от греческого *ploter* с долгими гласными – “мореплаватель, мореход”), и одухотворенный *верой* певец, и, наконец, умный *кормщик*, правящий *кораблем* в *бурном море*, – свидетельствует о том, что контекст стихотворения отнюдь не античный! – хотя образ бури (у Пушкина “гроза”), незащищенного корабля в открытом всем ветрам море и кормчего, который должен провести через все испытания корабль в гавань, встречается уже у Гомера. В античности этот набор образов был излюбленным: жизнь ассоциировалась с плаванием, жизненные бедствия – с бурями на море, государство – с кораблем, правит которым тот, от кого зависит исход плавания, – кормчий. Образ корабля в бурном море ис-

пользовал применительно к государству в момент гражданских войн и почитаемый Пушкиным Гораций:

navis, referent in mare te novi fluctus.  
O quid agis? Fortiter occupa portum...  
– О корабль, отнесут в море опять тебя  
Волны. Что ты? Постой! Якорь брось в гавани!

(Carm. I. 14. Horatius. Opera. Ed. Klingner F. Leipzig, 1970; Гораций. Собрание сочинений. СПб., 1993. Пер. А.П. Семенова-Тян-Шанского).

Позже, с принятием христианства, отцы церкви Григорий Назианзин, Василий Кесарийский, Иоанн Златоуст варьировали все тот же круг понятий: *море, буря, кораблекрушение, кормчий*... (Миллер Т.А. Образы моря в письмах каппадокийцев и Иоанна Златоуста // Античность и современность. М., 1972).

Однако постепенно образ кормчего приобретает новые черты и все более ассоциируется с тем, кто ведет вместе со сподвижниками (учениками, апостолами) корабль (церковь), т.е. с Христом. Особенно это становится очевидным, когда каждая деталь корабля начинает выполнять в сознании христиан особую функцию.

Первоначально кормчий – Христос, а затем кормчим мыслится тот, кто направляет людей или управляет ими, – священник, правитель, царь, князь. На этом символический круг не заканчивается. Священник (т.е. один из кормчих) получает в свои руки особую книгу, содержащую свод законов, которыми нужно руководствоваться. Такая книга первоначально называлась “книгой кормчего”, а затем в результате ряда трансформаций и переосмыслений на русской почве – “Кормчей”. В самом начале XIX века на греческом языке появилось соответствующее греческое название книги *Pedalion*, т.е. “Кормило” (первое издание книги – в Лейпциге в 1800 году, затем она несколько раз была переиздана). Все эти образы представлены в этой книге на особом рисунке. Рисунок символичен: на нем корабль с кормчим Христом. Подпись под рисунком растолковывает скрытый смысл изображенного.

Мы видим корабль среди волн. Мачта его имеет форму креста. Парус надут ветром. На носу корабля – церковь с тремя куполами. Христос как штурман, или кормчий, сидит на корме, удерживая левой рукой руль (“кормило”), а правой рукой канаты, управляющие парусом (“ветриллом”). У него отрешенный, устремленный вверх голов, взгляд, в то время как взор его спутников обращен вниз. Пять фигур, стоящих вокруг, держат книги: это апостолы (И. Жужек в двоих видит поразительное сходство с традиционным изображением святых апостолов Петра и Павла. Žužek I. Kormčaja kniga. Roma, 1964) или “знаменитейшие Святые Отцы” (так думалось Г.А. Розенкамифу. Розенкамф Г.А. Обзорение Кормчей книги в историческом виде. СПб., 1839. 2 изд.). Между корабельной мачтой и этими пятью святыми символически

представлена толпа людей. Надпись под картиной в свободном переводе звучит так: *Сей корабль знаменует вселенскую церковь Христову, киль которого – православная вера в Святую Троицу, брусья и доски – догматы веры и предания, мачта – крест, парус – надежда и любовь, а кормчий – Господь Бог наш Иисус Христос, гребцы и корабельщики – апостолы, а также преемники их и все духовенство, служащие и нотариусы – нынешние ученики, пассажиры на судне – все православные христиане, море – жизнь в сем мире, дуновение ветров –дыхание и благодать Святого духа, ветры – настигающие испытания, сам руль (“кормило”), направляющий корабль к небесному пристанищу, – сия книга священных канонов.*

Представление о Христе как рулем очень рано попало в старославянскую и древнерусскую литературу. Соответствующее греческое слово *kybernetēs* переводится словами *Кормчиш* (*Кръмъчиш*, *Кърмъчиш* есть и другие варианты) и *Кормникъ* (*Кърмъникъ* и варианты): “п(ре)ч(и)стая вл(а)д(ы)ч(и)це, рожьшиа зємьнымъ крмъчю и г(оспод)а” (Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1967. 16).

В Новгородской октябрьской Минее 1096 года мы обнаруживаем текст, который, очевидно, свидетельствует о том, что апостолы восприняли в свои руки от Христа церковное кормило “прият си на роукоу ц(ь)рк(ъ)вьное кърмило, к кърмъникоу Х(рист)оу пришьд, ап(осто)ле, и то ду(х)ъмь яко лодию б(о)ж(ь)ствьноюю. Анание, направил еси” (Ягич И.В. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по русским рукописям 1095–1097 г. СПб., 1886). Таким образом, после Христа апостолы становятся кормчиими.

Затем сила и функции кормчего переходят к патриархам. *Кормчиими* названы они в Уставе Великой Церкви в Константинополе, который использовался на Руси, по-видимому, с X по XIV века: *theophoroi kybernetai laoi* (Ср.: Лисицын М. Первоначальный славяно-русский тилкон. СПб., 1911).

*Кормчиими* именовали и архиепископов. Из поздних отголосков этого и других образов, в которых священнослужители высшего ранга приравниваются по функциям к Христу, приведем отрывок из письма царя Михаила Федоровича к патриарху Филарету, где патриарх назван кормчим Христова корабля: “Пречестнейшему и всесвятейшему о Бозе отцу отцем и учителю Христовых велений, истинному столпу благочестия, евангелския проповеди рачителю, недремателну оку, церковному благолепию, *кормчию* Христова корабля, неблазнено той направляюще во пристанище спасения, великому государю отцу нашему, святейшему Филарету Никитичю” (Письма русских государей и других особ царского семейства. Издание Археографической комиссии. М., 1848. Т. I). Соответственно и патриаршая власть может быть названа кормилом: “Великого патриарша престола *кормило* державшу бывшему патриарху Никону” (Дополнения к Актам историческим. Издание

Археографической комиссии. СПб., 1853. Т. V. Документ датируется 1667 г.).

И, наконец, после Христа, апостолов и священнослужителей высшего ранга император, царь или князь мог называться *Кормчим*. В так называемой Ефремовской кормчей XII века читаем в обращении к Юстиниану II: “его же великоуоумоу семоу всего мира правитель кораблю (pedaliouchōn holkada) X(ри)с(тос) B(ог) наш тебе моудраго *кърмьчию* (kybernetēn) бл(а)гочъстивааго ц(е)с(а)ря застоупника в истиноу въстави оустрающа словеса на соуде” (Бенешевич В.Н. Древнеславянская кормчая XIV титулов без толкований. СПб., 1906. Т. I).

Те же образы обнаруживаем в древнерусском памятнике “Слово Даниила Заточника” при обращении к князю: “Кораблю глава *кормник*, а ты, княже, людям своим” (Зарубин Н.Н. Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам. Л., 1932).

Таким образом, становится ясно, что Пушкин в своем псевдоантично оформленном стихотворении опирался на известные христианские образы. Только теперь понятны набор ассоциаций и сам образ корабля, на котором плывут по морю испытаний и борьбы сподвижники, предводительствуемые “мудрым кормщиком”.

Однако сюжет развит Пушкиным дальше. Он вводит мотив спасения певца, ведь он – поэт – только он! – может рассказать о произошедшем и “петь прежние гимны”. Мотив спасения ставит певца – поэта в особое положение. В христианской системе образов главным лицом мыслился кормчий, а у Пушкина – в случае гибели кормчего – функции и самого кормчего, и “пловцов”, т.е. сподвижников, выполняет Поэт. Это уже мотив неслыханный, никак не укладывающийся в данную систему образов, но совершенно естественный для пушкинского самосознания.

Так Пушкин дважды использовал образы разных культур и дважды их переименовал, чтобы создать свой собственный образ; образ, обусловленный особым предназначением; образ, не вписывающийся ни в античную, ни в христианскую картину, – образ Поэта.

*Из архива ученого*



## **У ИСТОКОВ СЛАВЯНСКОЙ КАРНАВАЛЬНОСТИ**

*М. Ф. МУРЬЯНОВ,  
доктор филологических наук*

Суров дух старославянской письменности, ведь она ограничена рамками церковно-богослужебных потребностей. Не было в ней того, что красило аскетические будни живших в ту же эпоху византийских и латинских церковных книжников – не выставлявшегося напоказ, но и не иссякавшего родника жизнелюбивой поэтической традиции, берущей свое начало в языческой античности. До нас произведения античной поэзии дошли не в автографах ее творцов, а, как правило, в рукописях IX–XII веков, вышедших из монастырей Византии и Западной Европы, где царило понимание того, что нельзя овладеть литературным языком, научиться хорошо писать, не обучившись на чтении лучших поэтов дохристианской эпохи.

Младописьменный славянский мир не имел аналогичных возможностей, у него был только фольклор, и суждения о поэтике незаписанно-

го старославянского фольклора были бы гадательными. Нашу реальную поэтическую библиотеку открывают напечатанные при Иване Грозном Псалтырь и постная Триодь (Москва, около 1556 г.), представляющая собой последование богослужебных гимнов на “дни печальные великого поста” (Пушкин), когда церковь, и без того существовавшая не для веселья, одета в черный цвет траура. Возникновение славянского книгопечатания тоже ознаменовано постной Триодью (Краков, 1491). Не будет рискованным предположение, что и при зарождении славянской письменности, в кирилло-мефодиевскую эпоху, в числе первых переводов с греческого языка была постная Триодь, дошедшая до нас в рукописях начиная с XII века.

Памятник этот состоит из произведений многих, в том числе и крупнейших византийских поэтов, он построен по продуманному драматургическому плану так, чтобы на протяжении великопостного периода подготовить слушающего эту гимнодию человека к сопереживанию крестной казни Христа; к художественному воздействию словом добавлялось воздействие мелодией – музыкальное оформление Великопостных служб особенно впечатляюще. Развитие темы начиналось издавна, с предуготовления, завершаемого сырной седмицей – неделей, получившей свое название по тому признаку, что употребление мяса было уже запрещено, а все молочное (“сырное”) еще разрешено. По богословской теории это должно было служить постепенным переходом от более или менее умеренного образа жизни к строгому посту, но в народном понимании в сырную седмицу нужно было набрать сил перед наступающими ограничениями на все плотское, это была буйно празднуемая масленица, время той самой *карнавальности* средневековья, о которой так хорошо писал М.М. Бахтин, предложивший этот термин, сам по себе удачный, но имевший несчастье стать модным.

Церковное красноречие, обличавшее непотребства масленичного разгула, своей цели не достигало – человеческие слабости, как правило, оказывались сильнее. Борение обоих начал интересно проследить на истории текста стихир сырного вторника. В первопечатных московской и краковской Триодях она дана в одинаковой редакции, с минимальной разницей в орфографии и аббревиатурах, которые мы здесь раскрываем: “Любезно людие пост приимем · преспе бо духовных подвигов начало · оставим телесное сладострастїе · възрастим душевнаа дарованїи · съпосраждем яко рабы Христови · яко да и съпрославимся яко чада божїа · и духа святаго в себе въселившє · просветити душа наша”.

Однако в рукописной постной Триоди XII века (Москва, ГИМ, Синадальное собрание, № 319, л. 30 об.) эта стихира начинается иначе: “В сласть людие пост целуим”.

Отличие поразительно и, естественно, наводит на мысль о карнавальном остроумии того, кто эти слова написал. Но может ли быть до-

казано, что в языке XII века *целоваться всласть* значило то же самое, что и в наше время? Ведь известно, что *целовати* могло иметь значения “приветствовать” или даже “благодарить”. Правда, признак *в сласть* существенно ограничивает возможные колебания смысла глагола в исследуемом контексте и напоминает о том, как в древнерусском Успенском сборнике XII/XIII веков старец Авраамий, придя в гостиницу, “осклавив же ся рече к гостиньнику · друже слышал есмь яко имаши съде д(е)в(и)цию добру в сласть да ся назрю ею... призови ми ю да ся повеселю дн(е)сь с нею” (Успенский сборник). Но плотское – не единственное значение для выражения *в сласть*, ведь ничего такого не возникало в понимании тех, кто слушал Слово Иоанна Златоуста на праздник Пасхи по старославянскому Супрасльскому сборнику XI века: “праздньствуим убо в сласть и целомудрьствьно” (Супрасльский сборник). Для достоверной интерпретации словосочетания *в сласть целуим* нужна бы некоторая совокупность примеров на него, в достаточно ясных или друг друга дополняющих контекстах. Такого материала в природе не существует, уникальное выражение постной Троицы придется объяснять, исходя из него самого. Выход из логического тупика – это обращение к греческому оригиналу стихирь. В нем начало стихирь выглядит так: “*Asméndōs, laol, tēn nēsteian aspasōmetha*”.

Наречие *asméndōs* и глагол *aspádzomai* встречаются в языке Библии – основного авторитета для средневековых авторов, сквозь призму Библии они были склонны рассматривать и толковать значения любых двусмысленностей в языке.

*Asméndōs* употреблено лишь в одной новозаветной фразе, но с вполне ясным значением: “По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно приняли (*asméndōs apedēksanto*) нас” (Деяния апостолов 21, 17). Наречие это уже в классическом языке выражало радость встречи, возвращения, спасения от смертельной опасности – но ничего похожего на описание чувственных эмоций сластены, они были в другом греческом слове, которое передавалось славянским в *сласть* – в *hēdēds*.

*Aspádzomai*, по своему исходному смыслу – “обнимать”, в языке Нового Завета встречается многократно и имеет значение “приветствовать при встрече”, причем не столько объятием или прикосновением устами, сколько речью приветствия. В раннехристианскую эпоху в глаголе *aspádzomai* развилось дополнительное значение – оно стало обозначать целование, которым в ситуации сакральной тайны обменивались посвященные непосредственно перед тем как сообща вкусить евхаристические хлеб и вино; этот обычай удержался в ритуале, когда причащается византийское духовенство.

Между прочим, П.И. Чайковский, перед тем как написать свою “Литургию”, до тонкостей изучивший строй богослужения, усматривал в этом моменте кульминацию священнодействия и возражал против укоролившегося в Новое время обычая заслонять эту кульминацию, кото-

рой, по мнению композитора, подобала бы благоговейная тишина, пением виртуозных вокальных партий. Похоже, что византийский поэт, сочинивший стихиру постной Триоди, был под впечатлением именно этого, литургического значения глагола *aspádzomai*, оно же послужило основанием для синодальной коррекции церковнославянского перевода стихир: “Любезно людїе пост обლობызайм”. Для языкового чутья Пушкина разница между *лобзать* и *целовать* была очевидной: “если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать да *лобжет мя лобзанием* вместо *цалуй меня*”.

Сравнение греческого текста начала стихир с тремя славянскими вариантами – древнейшим, первопечатным и синодальным – дает возможность сделать определенные выводы.

Дух и буква оригинала лучше всего переданы переводом синодальным. Перевод первопечатный тоже нельзя назвать неточным, но он суше, суровее. Перевод древнейший отличается вольностью в передаче наречия *asměnds*, сдвинувшей смысл целого до грани дозволенного, но в такую сторону, что здесь трудно предположить, будто у переводчика было слабое знание языка, недостаточный запас слов. Календарная приуроченность стихир к масленице скорее говорит за то, что переводчику было свойственно не только профессиональное мастерство, но и чувство юмора, о проявлениях которого в старославянских текстах пока, насколько знаем, не было даже постановки вопроса.

Публикация И.В. Мурьяновой

*Из истории политического лексикона XX века*

**Белый  
в русской  
эмигрантской  
публицистике**

*А.В. ЗЕЛЕНИН,  
кандидат филологических наук*

Слово *белый* относится к числу ключевых в публицистике русской эмиграции первой и второй волны (1920–1940 гг.).

Переносное “политическое” значение слова *белый* пришло на русскую языковую почву из французского языка, где оно в первые десятилетия XIX века, после реставрации династии Бурбонов, приобрело значение “свойственный монархии, защищающий такой режим”. В русский язык это значение проникло в 40–50 годы XIX века.

После революции 1917 года понятие наполнилось новым содержанием: “связанный с самодержавием, царизмом; выступающий в его защиту”. Слово оценивалось в советском языке резко отрицательно и – мало того – стало одним из обозначений постоянно расширяющегося понятия “враг народа”: “...в ряде случаев получилось то, что коммунисты оказались в сетях, а в колхозах заправляли бывшие белые офицеры, бывшие петлюровцы и вообще враги рабочих и крестьян” (Сталин. Вопросы ленинизма).

В эмигрантской публицистике семантический механизм (метонимические переносы) у слова *белый* сохранился. Отметим главные направления и тенденции в развитии данного обозначения: часть из них идёт еще из доэмигрантского прошлого, другая – развилась уже в эмигрантском “круге жизни”. Ещё во время гражданской войны в России у *белого* сформировалось значение “защищающий старый (законный) строй; участвующий в вооружённой борьбе против большевиков”; понятно, что семантический элемент “законный”, выделенный в значении, служил основным конструктивным ядром понятия (с точки зрения защитников старого режима). Очевидно, здесь на первое место выдвинулись прагматические факторы: в зависимости от политической позиции людей семантическое наполнение слова составляли или негативно-оценочные элементы “самодержавный, царский, реакционный, контрреволюционный” (в советском языке), или позитивно-оценочные: “защи-

щающий старый режим, антиреволюционный, направленный на подавление революции” (в языке людей, не принимавших советскую власть).

В первое время после революции часто употреблялось *Русская армия* в значении “войска, присягнувшие императору”. Однако вскоре армия разделилась: часть перешла на сторону большевиков. Раскол в армии вызвал поиски новых наименований. В неофициальном обращении царских офицеров появились названия *Белая гвардия*, *Белая армия*, в которых определение *белый* показывало политическую (монархическую) позицию. По принципу “семантического зеркала” в языке революционеров возникли сочетания *Красная гвардия*, *Красная армия*. Несомненно, центральными обозначениями в годы гражданской войны в языке защитников старого режима были *Белая армия* (*белые армии*) и *белый офицер*.

После поражения белых армий эти названия в эмигрантских кругах употреблялись чаще всего как “эхо-слова”, призванные воскресить воспоминания прежнего времени (отсюда их некоторая пафосность и торжественность): “Под сенью Российского Императорского Дома развивалась и крепла Россия в течение 300 лет и привет Её Главы и высокая оценка, данная Его Императорским Высочеством подвигам Белых Армий и нашей готовности отдать все свои силы на служение Родине, нам особенно дороги” (Рус. голос. 1939. 19 февр.); “Это он [генерал Корнилов] первый принес духовный меч России: или – или. Или с революцией, или против. (...) А белая армия, созданная им, это больше, чем спасение национальной чести. С белой армией, в крови и терзаниях, каких не переносило ни одно русское поколение ни при какой татарщине, – на смену старой нации, рухнувшей в революции, начала воссоздаваться новая русская нация, преодолевающая революцию” (Возрождение. 1939. 7 июля.); “Русские Белые Армии – это ничтожная в процентном отношении часть охваченного красным дурманом населения России, эта горсть бойцов за честь и достоинство Родины выполнила историческую миссию огромного значения. Русские белые герои, усеявшие своими костями бескрайние просторы России, полегли недавно” (Сигнал. 1938. 15 сент.).

Появился ряд публицистических (торжественных и высоких) обозначений прошлой истории: *белое прошлое*, *белая борьба*, *белое движение*, *белые ряды*, *белое воинство*, *белый воин*, *белый рыцарь*, *белые герои*: “...с прошлым мы связаны дорогими могилами, общими идеалами, на заре Белого движения будившими самые черствые сердца (...) Белое прошлое будет жить, поучая и вдохновляя” (из речи генерала Деникина. Голос России. 1931. 2 авг.); “Та белая борьба, которая по шире, терпимости, бескорыстию – в понимании подъявших ее вождей и лучших воинов – не замыкалась в классовые и партийные рамки, а была делом национальным, общерусским...” (из речи генерала Деникина.

Голос России. 1931. 2 авг.); “20 лет вопияла к Небу кровь благородного белого рыцаря адмирала Колчака и его соратников, коварно преданных чехами и их вождями большевикам на мученическую смерть” (Рус. голос. 1939. 19 марта).

Обобщение политического, идейного и духовного противопоставления большевикам и коммунистам способствовало появлению таких понятий, как *белая идея*, *белое дело*, *белая политика*, в которых семантически опорный элемент – прилагательное: “...подобно тому, как в прошлом, уверовав в Белую идею, русские воины отдали свои силы, многие жизнь, борьбе, так и в будущем: уверовав в правильность государственного пути кормчих, они отдадут себя так же беззаветно и новому строительству” (из речи генерала Деникина. Голос России. 1931. 2 авг.); «И если на мирной конференции с балтийскими государствами большевики захотят обрисовать “тыл” Колчака и Деникина, у них хватит достаточно материала, чтобы характеризовать “белую” политику “черными” красками» (Возрождение. 1919. 11 окт.); “Поистине какой-то злой рок тяготеет над святым русским белым делом. Сколько раз победа его была так близка, так возможна! И всякий раз надежды рушились, и всегда в конце концов одерживала верх враждебная темная сила. И это будет так до тех пор, пока не перестанут делать русскую белую политику и не вернуться в свое смрадное подполье господ Савинковы, Чайковские и все те, кто так или иначе – по недомыслию ли, или по сознательному расчету – были причастны к подлой измене, именуемой “великой” русской революцией, доведшей Россию до неслыханного позора и до бесконечных страданий” (Призыв. 1920. 13 [29.2] марта).

Эмигрантские годы породили обозначения *белая эмиграция*, *белый изгнанник*, *белоэмиграция*, *белоэмигранты*: “Случаи эти характеризуют положение белой эмиграции в Харбине и полосе отчуждения КВЖД: красный террор местных и приезжих агентов ГПУ может развиваться с полным успехом и при полной безнаказанности” (Голос России. 1931. 1 сент.); “...разрешение наших возможностей кроется не в местных вспышках японских боевых выступлений, не в предвзятой идее, что японцы должны питать ту же органическую ненависть к русским большевикам, какую питаем мы, или в несуществующих нежных чувствах японцев к нам, белым изгнанникам, не сумевших отстоять ни своей Великой Родины, ни своего Мученика Царя” (Голос России. 1932 сент. – окт.).

Субстантивированное прилагательное *белый* стало употребляться в трёх ситуациях: 1 – как обозначение участника белого движения в годы гражданской войны в России: «В Сталинграде (бывшем Царицыне) состоялись торжества по случаю десятилетия освобождения города от белых. По приказу свыше принято постановление возбудить ходатайство о награждении орденом Красного Знамени Сталина, Ворошилова и других участников обороны “красного Вердена”» (Сегодня. 1930.

8 янв.); 2 – как обозначение эмигранта: “Почему СЖТ [Генеральная Конфедерация Профсоюзов. – А.З.] ведет именно теперь такую усиленную агитацию? (...) Русских белых нужно перекрасить в красных или, по меньшей мере, в розовых. Однако какие делаются для этого усилия” (Возрождение. 1937. 20 нояб.), 3 – как обозначение в Испании защитников правительства (“франкисты”) в гражданской войне с оставшими сторонниками республики – “красными”: “Муссолини будет стремиться изгладить неблагоприятное впечатление, произведенное в Европе неудачей его отрядов, и не остановится, вероятно, перед более решительной поддержкой белых в Испании” (Меч. 1937. 28 марта).

Мы указали преимущественное употребление слова *белый* в монархически настроенных изданиях, которых в эмиграции было большинство (примерно 80% всех газет и журналов). Однако нельзя не упомянуть другой тип изданий с отличной прагматической установкой, свойственной социал-демократическим и анархическим партиям и группам. Их оценка политического значения слова *белый* во многом совпадает с большевистской или коммунистической – “защищающий монархический строй; реакционный”; несомненно, это наследие старого, дореволюционного употребления в прежде едином социал-демократическом (“левом”) движении.

Правда, годы революции добавили новые нюансы – эмигрантам демократам и анархистам *белый* столь же ненавистен, как и *красный*: “Всё это путешествие от Архангельска до Холмогор – сперва на пароходе, а затем на лошадях по болотам; этот монастырь, который превращен в концлагерь; зверские лица белых офицеров и чекистов, охраняющих заключенных, – все это произвело на меня впечатление могилы, в которую брошены люди для медленного умерщвления...” (Анархич. вестник. 1923. № 5–6); “[Партия большевиков] боится дворцового переворота, который в данный момент может устроить любая кучка властолюбцев белого или красного цвета” (там же. 1924. № 7); “...коммунисты, сознательно умалчивая о политической принадлежности арестованных – старых, испытанных в борьбе с царизмом и белыми – низводят их на ступень “белогвардейцев”» (там же. 1923. № 2); “Быстрым невозвратимым мигом промелькнул праздник первых завоеваний революции и демократического перерождения России. Промелькнул, чтобы надолго уступить место мрачному хаосу большевизма и национального сепаратизма, расколовших великую страну на части и повергнувших ее во все ужасы междоусобной войны, красного и белого террора, окончательного расстройтва экономической жизни, голода, культурного и социального одичания, потери всех международных связей и всего прежнего международного значения... Но вместе с тем угрожающей тенью надвигается новая опасность, грозящая прийти на смену большевизму, опасность, которая с самого начала большевистского переворота предсказывалась как его неизбежный результат, опасность

контрреволюционной реакции, стремящейся к возвращению старого режима или, по крайней мере, к восстановлению классовых привилегий, к подавлению политической и гражданской свободы, к культивированию и разжиганию национальной розни и другим прелестям недоброго старого времени” (Возрождение. 1919. 6 июля).

*Белый* в 20-е годы в анархических изданиях (впрочем, как и *красный*) начинает ассоциироваться с *фашистским*: “Т-щи [товарищи] рабочие, крестьяне и революционные социалисты Запада и Америки! Мы вам сообщаем об этом факте издевательства [расправы над участниками юбилейного вечера памяти П.Л. Лаврова] над революционными социалистами России... не для того, чтобы поразить Ваше воображение. Этот факт тонет в море подобных и еще более возмутительных фактов, имеющих место везде, где трудящиеся ведут борьбу за свои права, встречая отпор как со стороны красно-фашистской, так и бело-фашистской реакции” (Анархич. вестник. 1923. № 2).

Рассмотрение семантической и прагматической структуры одного из ключевых понятий политического дискурса XX века – слова *белый* – в другой, эмигрантской, “разновидности” русского языка позволяет взглянуть на функционирование политического термина более объемно и объективно. Это – один из необходимых этапов работы над ненаписанной еще историей политического лексикона нашего столетия.

Санкт-Петербург



## Лябушка

В. П. ШУЛЬГАЧ,  
кандидат филологических наук

Слово *лябушка* “выпечное изделие типа булочки” зафиксировано в “Словаре вологодских говоров” (Вып. 4). Оно не является изолированным в русском языке: семантически близкие соответствия находим в других регионах, например: *лябушечка* “булка, булочка” (свердл., ср. урал.), *лябуша*, *лябушка* (олон.) “лепешка коровьего помета” (Словарь русских народных говоров. Вып. 17. Далее – СРНГ), *лябуш*, *лябуша* = *лабушка* (карел.) “коровий помет” (Словарь русских говоров Карелии. Вып. 3) < “лепешка”. Наричательное *лябушка* (в функции метафоры) могло употребляться как насмешливое прозвище, которое, в свою очередь, отразилось в топонимии: *Лябушки* – поселение в бывшей Оло-

нецкой губернии, сюда же *Лабушкино* – ойконим в бывшей Костромской губернии (Russisches geographisches Namenbuch. Wiesbaden, 1971. Bd V).

На наш взгляд, указанная лексика формально является вторичной, фонетически преобразованной в результате редукции начала слова. Основания для такого предположения дает сравнение ее с идентичными по значению лексическими соответствиями из других диалектных зон, а именно: *алябушка* (свердл.) “картофельная лепешка”, *алябушки* (перм., вят., урал.) “небольшие караваи...”, *алабушки* (арх., курск.) “маленькие пирожки из гороховой муки...”, “небольшие хлебцы” (СРНГ. Вып. 1), *алябушечка* (перм.) “небольшая булочка или лепешка, испеченная из остатков теста” (Словарь говора деревни Акчим Пермской области. Вып. 1). К тому перечню можно добавить *олябуш* (читин.) “неудачный, испорченный хлеб, пирог”, *олябушка* (перм.) “лепешка, оладья”, *олабуш* (арх.) “блин, оладья, лепешка”, *олабушек* (печор.) “оладья”, *олабушка* (сев.-двин.) “блинчик” (СРНГ. Вып. 23) и др. В качестве иллюстративного материала важны и ономастические данные, например, *Елабуш* – наименование поселения в бывшей Казанской губернии (Russisches geographisches Namenbuch. Wiesbaden, 1966. Bd III) – косвенное свидетельство давности самого фонетического явления (в качестве соответствия с начальным гласным *e*- ср. *елабыши* (арх.) “блин” – СРНГ. Вып. 8).

Полагаем, что и этот ряд примеров с начальными *a*-, *o*-, *e*- не является исконным, а своеобразным промежуточным звеном формально трансформированной по диалектам лексики с этимологическим начальным *k*-. Для подтверждения своей мысли сошлемся на *калабушка* (моск.) “круглый крендель”, *колобушка* (калинин.) “круглая булка...”, “круглый пирог с толокном” (олон.), *колябушка* (свердл.) “картофельная оладья”, “биточек (картофельный или из пресного теста)” (урал.), *колабушек* = *колобушек* (ворон.) “пресная лепешка” (СРНГ. Вып. 14), *колабушка* (карел.) “круглая ватрушка с картофельной начинкой” (Словарь русских говоров Карелии. Вып. 2), *колобушка* = *колобок* (волог.) “выпечное изделие круглой формы” (Словарь вологодских говоров. Вып. 3) и под. Таким образом, анализируемое *лябушка* восходит к первоначальному *калябушка* (*колябушка*) – фонетически модифицированному *колобушка* “кулинарное изделие округлой (овальной) формы”. Относительно структуры *колобушка* – уменьшительно-ласкательное от *колобух/колобуха*, ср., например, *колобух*, *колобуха* (олон.) “круглый пирог с толокном” (СРНГ. Вып. 14). Для него находят соответствия в других славянских языках: украинское диалектное *колябуха* “ухаб” (Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов // Полесье. Лингвистика. Археология. Топонимика. М., 1968), *калабуха* “лужа” (Словарь української мови / За ред. Б. Грінченка. Київ, 1908. Т. 2), польское диалектное *kłobuch* “ста-

рая, рваная соломенная шляпа”, “бутон нераспустившейся розы” (Słownik języka polskiego / Red. J. Karłowicz i in. Warszawa, 1902. Т. II) < “что-нибудь округлой формы, выпуклое”, *Kłobuch* – антропоним (Rospond S. Słownik nazwisk śląskich. Wrocław etc., 1973. Cz. II). Это дает основание для реконструкции потенциальных праславянских лексем \*kolbuxъ, \*kolbuxa.

В заключение добавим, что утрата звуков или целых слогов в начале (или середине) слова в результате ослабления артикуляции и иных причин наблюдается в диалектах не только русского, но и других славянских языков: древнерусское *Люгоща* (1203 г.) – название улицы в Новгороде (варианты *Людгоща*, *Людигоща*; Полное собрание русских летописей. СПб., 1841. Т. III: Новгородские летописи), русские диалектные *ебрó* “ребро”, *орóна* “ворона” (СРНГ. Вып. 8, 23), украинское *ятел* “дятел” (Верхратський І. Говір батюків. Львів, 1912), *óздух* “воздух” (Матеріали до словника буковинських говірок. Чернівці, 1979. Вип. 6), *сподáрь* “хозяин” (Словарь української мови. Київ, 1909. Т. 4), белорусское *уба* “губа” (Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. Мінск, 1986. Т. 5), *мага́йбо* “добрый день” (Этымалагічны слоўшкі беларускай мовы. Мінск, 1990. Т. 6) – из *памагай бог*, болгарское *удь* “вода” (Стойков С. Лексиката на банатския говор. София, 1968), македонское *Олмец* – название горного рельефа, из *Холмец* (Панка В. Топономастиката на Охридско-Преспанскиот базен. Скопје, 1970) и под.

Украина,  
Киев



## Топонимический словарь Центральной России\*

Г.П. СМОЛИЦКАЯ,  
доктор филологических наук

**Сосна́.** Река, правый приток Дона на территории Орловской и Липецкой областей. Гидроним *Сосна* не может быть связан с апеллятивом *сосна* “хвойное дерево”, так как по законам русского словообразования он имел бы форму *Сосновая*, *Сосновская*, *Сосновка*, которые часто встречаются в гидронимии центральной территории России. Наличие гидронима *Тихая Сосна* укрепляет в этом предположении и указывает на иное происхождение. Не исключено, что это какой-то гидрографический термин. Во всяком случае, при членении на *Со-сна* возникают ассоциации с речными названиями *Цна*, известными на территории бывшего расселения финноязычных народов – предков мордвы, а также реки *Цов* (*Оцон*, *Оцна*), *Мецна*. Кстати, последняя известна как *Мецна Мокрая* на картах XVIII века; рядом *Мецна Сухая*, давшие топоним *Мценск*. Небезынтересен и тот факт, что река Десна в нижнем течении Москвы-реки известна и в форме *Сна* (Смолицкая. Гидронимия бассейна Оки). Вероятно, в этот ряд становится и река Мокрая Косна, приведенная В.А. Никоновым (Краткий топонимический словарь). Академик Т. Лер-Сплавинский связывал названия польских и белорусских озер *Сосно* с финскими *sose*, *soseen* “болото, грязь”. В.А. Никонов без основания говорил о гидрониме *Созон*, упоминающемся в Книге Большому Чертежу: “в Дон одиннадцать рек, все Созоны”. Не исключено, что весь приведенный топонимический материал – адаптированный в русском языке (в разных условиях) финский термин *sose*, *soseen*. соснийский, -ая, -ое

\* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–3.

**Сосновый Бор** (1973). Город в Ленинградской области. Название дано по тому, что город был расположен в сосновом бору. Случай, когда топоним представляет собой существительное с определением, часты в географических названиях: *Новая Земля*, реки *Красивая Меча*, села *Красный Бор*, *Красный Маяк*, *Дальнее Константиново* и многие др.

сосновоборцы, сосновоборец

сосновоборский, -ая, -ое

**Собринно**. Поселок городского типа в Московской области. Известен с XV века как село *Супонево*, а с 1572 года – село *Сафаринское*. Оба названия антропонимического происхождения – по фамилии владельцев. Современная форма существует с XIX века, а *Сафарино* – с XVIII. *Сафарины* – сурожские гости в XV–XVI веках. Названия селений по их фамилии неоднократно встречаются на территории Центральной России – дважды в бывшей Московской губернии и *Сафарино* в Рязанском уезде (Веселовский. Ономастикон).

собринец, собринцы

собринский, -ая, -ое

**Спас-Демёнск** (1917). Город в Калужской области. В 1494 году упоминается как *волость Демена* и *городище Деменск*. Первая половина топонима по названию церкви – во имя *Спаса*, Спасителя Иисуса Христа; вторая – по реке *Демена*, на которой расположен город. Исследователи видят в основе гидронима балтийский корень *dam-/dem-*, очень употребительный в гидронимии, без указания на его значение. Ср. *Дамынка*, *Домонта* (Топоров, Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья).

спасдеменцы, спасдеменец и спасдеменцы, спасдеменец

спас-деменский, -ая, -ое и спас-демёнский, -ая, -ое;

деменский, -ая, -ое и демёнский, -ая, -ое

**Спас-Клепик** (1920). Город в Рязанской области. Местное название *Клепики* или *Спас*; в XVI веке это село *Клепики*, в XVII – *Спасское*, *Клепики тож*. В основе его – название церкви *Спасская* и апеллятив *клепик* (*клепики*), известный в русских диалектах как “нож разного назначения и формы”; “короткий и широкий для разделки рыбы; кухонный, сапожный, для гончарных работ и т.д.” (СРНГ. Вып. 13). Кроме того, у апеллятива есть и другое значение: “место разделки, обработки рыбы” (Мурзаев. Словарь народных географических терминов), оно, видимо, и стало основой топонима. Это предположение подтверждается и тем обстоятельством, что окрестности Спас-Клепиков изобилуют озерами и речками (верховья *Пры* и ее притоки), в которых водится рыба. *Клепик* – “нож различного назначения (преимущественно короткий и широкий)” известен в русском языке с XVI века (Словарь русского языка XI–XVII вв.).

клепиковцы, клепиковец

спас-клепиковский, -ая, -ое, клепиковский, -ая, -ое

**Спасское.** Название многих сел на территории Центральной России. Оно дано в связи с возведением в селении храма в честь *Спаса*, Спасителя Иисуса Христа. Ср. название стихотворения Б. Пастернака “Спасское” (“Незабвенный сентябрь осыпается в Спасском”) – село в Московской области.

**Спасское-Лутовиново.** Село в Орловской области. Первая половина названия по церкви во имя *Спаса*, Спасителя Иисуса Христа, вторая часть по фамилии одного из владельцев *И. Лутовинова*, двоюродного дяди И.С. Тургенева.

– Здесь находится музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева, который родился и провел здесь детские годы, а позднее, в течение всей жизни, приезжал сюда работать.

спасолутовиновцы, спасолутовиновец и спассколутовиновец.

спасско-лутовиновский, -ая, -ое, спасский, -ая, -ое

**Спасск-Рязанский (1929), Спасск** (с 1778 г. по 1929 г.). Город в Рязанской области. Первая часть названия – по церкви *Спаса*, Спасителя Иисуса Христа, вторая часть уточняет местоположение объекта – *Рязанский*, в Рязанской области. Уточнение вызвано тем, что этот топоним довольно часто повторяется в России в форме *Спас*, *Спасск*, *Спасское* и т.п.

Название известно с 1594 года (в платежной книге Рязанского края 1594–1597 гг.) как слобода *Васькина Поляна*, село *Спасское тож*; с 1630 года – *Спасское*.

*У спасца и деготь красный товар.* Речь идет о бедности жителей Спасска, для которых такой дешевый товар, как деготь, кажется им дорогим и красивым (красным).

спасцы, спасец и спасовцы, спасовец

спасский, -ая, -ое

**Средний Икорец (Яблочное).** Село в Воронежской области. Известно с XVII века, заселялось беженцами из более северных уездов России. Основано на реке Икорце по его среднему течению. Название довольно прозрачно. В отношении *Икорца* можно сделать два предположения: в основе его диалектное *икорец* “мелкая льдина” или *икрица* “затверделость почвы” (СРНГ. Вып. 12). Ср. села *Верхний Икорец* и *Нижний Икорец* на этой же реке по ее верхнему и нижнему течению.

среднеикорцы, среднеикорец и икорцы, икорец

среднеикорский, -ая, -ое и икорский, -ая, -ое

**Средний Карачан.** Село в Воронежской области. Известно с начала XVIII века, основано выходцами из Тамбовской губернии. Другие названия: *Средняя Пятина*, *Самодуровка*. Первое из них, возможно, связано с административно-налоговым характером землепользования (делением на пятины); второе – может отражать особенность заселения земли (самоуправное, незаконное). Современное название можно объяснить так: *Средний* – по среднему течению реки; *Карачан* – речка, на

которой было основано село, восходит к тюркскому *кара* “черный”, *чан* “яма, омут”. Ср. поблизости село *Верхний Карачан*.

среднекарачаны, среднекарача́нец и карача́нцы, карача́нец  
среднекарача́нский, -ая, -ое и карача́нский, -ая, -ое

**Старая Ладога.** Поселок в Ленинградской области. Первоначальное название *Ладога* известно в летописи под 862 годом записи. Это один из самых древних русских городов, сыгравших важную роль в истории государства, так как стоял на пути “из варяг в греки”, связывавшем Русь с Византией, а кроме того был крепостью, защищавшей северо-западные рубежи государства. В XII веке здесь была заложена каменная Староладожская крепость – на высоком мысу между реками Ладожкой и Волховом. В 1703 году город был перенесен к устью Волхова (Новая Ладога). Ладога стала называться *Старой Ладогой*. В городе есть ценнейшие памятники архитектуры: Георгиевская церковь конца XII века с сохранившимися фресками и церковь Успения в Богородецком конце, также относящаяся к XII веку. На Ладожском городище с 80-х годов XIX века (с перерывами) ведутся раскопки. Их материалы хранятся в Эрмитаже, а само городище является археологическим заповедником.

Предположения о происхождении и значении этого топонима см. *Ладожское озеро, Новая Ладога*.

староладожа́не, староладожа́нин  
староладожский, -ая, -ое, ладожский, -ая, -ое

**Старая Пичеморга (Сире Пичеморга, Сире Вела).** Мокшанское село в Республике Мордовия. Известно с 1683 года. В этом же районе есть мокшанское село *Новая Пичеморга (Од Пичеморга, Од Веле)*. Как считает И.К. Инжеватов (Топонимический словарь Мордовской АССР), в основе названия *Пичеморга* общемордовские слова *пиче морга (морге)* “развилка у сосновой рощи”, которые в топонимии имеют значение “выселок, починок” (от “сучок”, “отросток”).

Топонимы с первой половиной *Старая* довольно часто встречаются на территории Центральной России, преимущественно в ее юго-восточной части. В Мордовии их 25. Определение *Старое* они получали после появления поблизости селения с первой частью *Новая*.

старопичеморгский, -ая, -ое

**Старая Русса (Русса)** – XI в. в берестяной грамоте, 1167 г. – в Новгородской лет.). Город в Новгородской области. По поводу происхождения названия существует несколько гипотез. Исследователи в большинстве случаев соотносят топоним *Русса* с *Русь*; тем более, что раньше Русой называлась большая область к югу от озера Ильмень между реками Пола и Полисть. Определенный интерес представляет гидроним *Порусья*, в бассейне Полисти (Севернее Ильменя), т.е. река, находящаяся за Русой (за пределами территории Русы). Необъясненным остается определение *Старая* (по отношению к какому-то новому). Воз-

можно, к топониму *Новая Русь* (современный населенный пункт *Новая Русса*) на юго-востоке современной Новгородской области на реке Пола, которая была в свое время своеобразной границей Руси, земли южнее Ильменя. М. Фасмер приводит мнение А.И. Соболевского о связи топонима *Русь* с соляным источником *Русь*, в основе которого апеллятив *русло*, но считает его менее вероятным (Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. III). В.А. Никонов не исключал возможности видеть в топониме *Русь* (*Русса*) гидроним на *-са* с неизвестной основой (Никонов. Указ. соч.). Ср. река *Неруца* в бассейне Десны. Не соотносится с подмосковным гидронимом *Руца*, который может быть объяснен через литовское *ruosa* “узкий луг с ручьем между полями или лугами” (Невская. Балтийская географическая терминология).

старорусцы, старорусец, староруска и старорушане, старорушанин, старорушанка, старорусяне, старорусянин, рушане, рушанин; *устар.* староруссы, русяне  
старорусский, *-ая, -ое*

**Старая Хворостань.** Село в Воронежской области на реке Хворостань. В начале XVII века – это незаселенное место называлось *Форосанский ухжей*, затем появилась деревня *Избыльская*, а в середине XVII века – село *Хворостань* или *Форосань*. Во второй половине XVII века в связи с появлением поселка Новая Хворостань село стало называться *Старая Хворостань*. Крестьяне села с XVII века были монастырскими; с 1764 года – экономическими, а в XIX веке – государственными (Прохоров. Вся Воронежская земля).

Наличие вариантов *Форосань* и *Форосанский* (ухжей) дает основание двойко толковать этот топоним. Варианты с *ф* вместо *хв* и наоборот – широко известное фонетическое явление в южных диалектах русского языка: *хворост* – *форост*, *хвоц* – *фоц*, *фартук* – *хвартук* и др. Название незаселенного места могло попасть в документы в диалектном варианте *Форосанский*, а затем и село – *Форостань* (*Форосань*).

В.А. Прохоров считает, что Хворостань (река) – это переосмысленная форма иранского имени *Хорасан*, исторической области Ирана, что восходит к *кур* “солнце” и *асан* “восход”. Название могли принести сюда персидские купцы в X веке и дать его своей стоянке. Тюрки, долгое время жившие в этих местах, именовали реку *Карасан* (XVI в.) “черная вода”. Предположение Прохорова не представляется убедительным и не поддерживается исследователями.

Реальнее видеть в основе названия речки *Хворостань* слово *хворост* “кустарник семейства ивовых”, который растет (рос) по ее берегам. Принцип номинации небольших речек в Центральной России по растительности на их берегах широко известен. Так, в бассейне Оки есть гидронимы *Хворосня*, *Хворощевка*, *Хворощенская* и т.д. (Смолицкая. Указ. соч.).

Гидронимы с формантом *-ань* тоже представлены в значительном количестве: *Листань, Сухань, Пыхань, Ольшань* и др. (Смолицкая. Обратный словарь гидронимов бассейна Оки).

старохворостанцы, хворостанцы

старохворостанский, *-ая, -ое* и хворостанский, *-ая, -ое*

**Старая Чекаевка.** Русская деревня в Республике Мордовия на реке Пензятка. Вторая часть названия антропонимического происхождения. Это фамилия служилого человека с засечной черты юго-восточной границы Русского государства, которому принадлежала данная деревня, о чем и говорится в документе 1675 года: “Муртоза мурза Девлеткильдеев сын Чекаев имел поместья в Темниковском и Саранском уездах” (Инжеватов. Указ. соч.).

старочекáевцы, старочекáевец и чекáевцы, чекáевец

старочекáевский, *-ая, -ое* и чекáевский, *-ая, -ое*

**Старица** (1297). Город в Тверской области основан как крепость *Новый Городок* (также *Городок на Старице, Высокий Городок*). В XIV веке разросшийся посад перекинулся на противоположный берег Волги и получил в конце XIV века название *Старица*. В его основе апеллатив *старица* “старое русло реки”, “удлиненная котловина (озеро в пойме реки), изогнутой формы”. Город назван так потому, что основан на берегу старицы Волги, т.е. бывшего русла Волги. Топоним *Старица* является наиболее ранним свидетельством наличия слова *старица* в древнерусском языке, которое в значении “старое покинутое русло реки” фиксируется в памятниках письменности несколькими веками позже. Название довольно продуктивно в русской и славянской топонимии, преимущественно в гидронимии, часто в разных формах: *Старик, Старец, Старка, Старуха* и т.п.

старицáне, старицáнин, старицáнка

стáрицкий, *-ая, -ое*

*Старичане* – *старица* – *дегтярница*. Имеется в виду основное занятие жителей – производство дегтя.

*Продолжение следует*



## ПУШКИНИЗМЫ В РЕПЕРТУАРЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА

*С.Н. АЗБЕЛЕВ,  
доктор филологических наук*

О связях творчества А.С. Пушкина с фольклором писалось и говорилось много; справедливо указывали на то, что наш национальный поэт весьма часто и результативно черпал темы и образы своих произведений из устной поэзии. Фольклоризм пушкинского наследия изучался довольно основательно, а результаты этих изучений были представлены и в литературе научно-популярной. Но воздействие произведений Пушкина на сам фольклор рассматривалось куда реже. Причина этого коренится в некоторой нечёткости, точнее – неодинаковых научных представлениях о том, что вообще принадлежит к области фольклора. Собиратели устной поэзии с гораздо меньшим вниманием обычно относятся к тому сегменту народного устного репертуара, который составляют произведения, восходящие к творениям профессиональных поэтов. Так называемые “песни литературного происхождения” участниками фольклористических экспедиций записывались далеко не всегда, а порой даже не регистрировались. Особенно – если авторский текст не претерпел значительных изменений в устах народных исполнителей.

В ещё большей мере это относилось к учёным XIX века. Авторские песни и стихи тогда использовались довольно широко составителями популярных печатных песенников, но редко становились объектом на-

учной фиксации в их живом, устном бытовании. Отчасти это относилось даже к вошедшим в народный репертуар стихотворениям и сказкам Пушкина. Но таких произведений сравнительно немного, а текстуальных записей и регистрации их устного исполнения всё же достаточно, чтобы попытаться очертить хотя бы предварительно общие контуры фольклоризации пушкинского наследия, определить его место в фольклорном репертуаре русского народа.

Распространенные, главным образом, в любительском исполнении в дворянской среде и в кругу разночинной интеллигенции XIX века, романсы и песни на стихи Пушкина отчасти перешли в репертуар современной эстрады. Но далеко не все эти произведения сохранили свою популярность среди музыкантов-любителей. Некоторые произведения Пушкина попадали в лубочные издания, становясь, таким образом, известными в крестьянской и мещанской среде, где бытование их оказывалось порой своеобразным.

Есть многократные свидетельства о песенных исполнениях крестьянами в конце XIX века стихотворений “Зимний вечер” (“Буря мглою небо кроет...”) и “Зимняя дорога” (“Сквозь волнистые туманы...”). В разных уездах Ярославской губернии эти песни на стихи Пушкина исполнялись с плясовым мотивом под кадрили почти без изменений авторского текста. А “Зимняя дорога” входила в студенческий устный репертуар сороковых–шестидесятых годов. В тридцатых годах уже нашего столетия в Ярославле была записана её народная версия, соединившая изменённый текст Пушкина с заимствованиями из широко известной “Тройки” (“Вот мчится тройка удалая...”) Ф.Н. Глинки. Поэма Пушкина “Братья разбойники” использовалась в пьесах народного театра, где, например, монолог атамана разбойников довольно близко передавал пушкинский оригинал. Подобных примеров было немало, они говорят о популярности стихов Пушкина в народе, о многообразном – хотя и не повсеместном – проникновении их в устный репертуар.

Разумеется, для признания произведения фактом фольклора повсеместность исполнения не обязательна: существует фольклор отдельных социальных слоёв и даже небольших социальных групп. Однако масштаб пушкинского творчества таков, что уже априори следовало бы ожидать всенародного распространения некоторых его произведений в устной традиции. Почти каждому более или менее образованному человеку известны пушкинские стихи, хотя не каждый знаком с их песенными обработками. Но массовость их бытования позволяет говорить об общенародной популярности песенных версий написанного Пушкиным. Авторские тексты в подобных случаях подвергались изменениям.

Лицейское стихотворение “Казак”, созданное, как известно, с несомненной опорой на мотивы украинских народных песен, всё же не является пушкинской переработкой какого-нибудь одного из выявлен-

ных собирателями произведений устной поэзии. Прочно войдя в репертуар, прежде всего, казачества, пушкинская баллада сократилась в объёме и упростилась сюжетно. Однако любопытно, что в записях её у казаков присутствует четверостишие, Пушкиным исключённое из окончательного текста в публикации 1815 года. Первоначальный вариант, автограф которого принадлежал некогда И.И. Пущину, был полностью напечатан Л.Н. Майковым, “за исключением первых двух строф, совершенно тождественных в обеих редакциях”, в первом томе академического издания 1899 года, затем повторенном в 1900 году. Среди этих “первоначальных вариантов” третья строфа читается так:

Меткого копья луною  
Светится конец;  
В грудь упершись бороною,  
Задремал донец.

(Сочинения Пушкина/Издание Императорской Академии наук. Приготовил и примечаниями снабдил Леонид Майков. СПб., 1899. Т. 1. С. 82). А вот как выглядит вся песня, записанная у оренбургских казаков в начале XX века:

Раз полуночной порою,  
Сквозь туман и мрак,  
Ехал тихо над рекою  
Удалой казак.  
Фуражечка на бекрене,  
Весь мундир в пыли,  
Пистолеты при кабуре,  
Шашка до земли;  
И копья его стального  
Светится конец,  
В грудь упершись бороною,  
Задремал казак.  
Конь, узды своей не чуя,  
Шагом выступал,  
Потихоньку – влево, влево,  
Прямо к Саше в дом.  
“Выйди. Сашенька, из дому!  
Дай коню воды”. –  
“Я коня твое не знаю,  
Боюсь подойти”. –  
“Ты коня мово не знаешь,  
Знать, забыла ты меня.  
Ты коня мово не бойся;  
Он всегда со мной.  
Он спасал меня от смерти  
Для тебя одной”.

(Песни оренбургских казаков / Собрал А.И. Мякутин. Оренбург, 1906. Ч. 3. С. 93–94). Третье четверостишие, восходящее к строфе, исключённой Пушкиным, несколько видоизменяет её, в результате чего ис-

чезла рифма. Характерно, что слово *донец* заменено здесь на обобщённое *казак*. В предшествующей строфе произведены замены слов, приблизившие текст к реалиям позднейшего казачьего быта и отчасти тоже повредившие литературной рифме, но не повредившие содержанию: “черна шапка” изменена на “фуражечка”, “жупан” на “мундир”, “при колене” стало “при кабуре”, а “сабля” преобразилась в “шашку”. Другие записи содержат и иные подробности, относящиеся к воинской службе казаков в конце XIX – начале XX веков. В приведённом же варианте после четырнадцатой строки идут не только словарные замены, но и обильные пропуски пушкинских строк, а с пятнадцатой строки песня и содержанием своим отличается от литературного оригинала. Сходны особенности других записей.

Варианты как бы приближают пушкинский текст к его устнопоэтическим основам, – не столько в форме (которая всё же сохраняет по преимуществу пушкинские черты), но, главным образом, в общем содержании. Как сравнительно недавно писала ныне покойная А.М. Новикова, «песня стала новой, с реальной поэтической картиной: обыкновенная любовная “встреча под окном” казака и знакомой ему девушки. Таким образом, вся баллада утратила характер литературной романтичности и в отличие от своего оригинала стала простой, народной и по содержанию, и по языку, и по стилю» (Новикова А.М. Русская поэзия XVIII – первой половины XIX века и народная песня. М., 1982. С. 146). Бытование этой песни не ограничилось казачьей средой: исполняли её и крестьяне, записи от них производились вплоть до нашего времени. По справедливому заключению А.М. Новиковой, «глубоко войдя в народные песни, юношеская баллада Пушкина “Казак” так давно потеряла связь со своим автором, что в народных массах она до сих пор считается подлинно народной песней» (Там же. С. 147).

Песенная обработка пушкинского “Узника” ранее всего была зафиксирована тоже у казаков:

За решёткою железною,  
В темнице тёмной  
Сидел там невольник –  
Орёл молодой.  
Клевал пищу кровавую  
Он перед окном,  
Клюёт и бросает,  
Сам смотрит в окно:  
“Давай, брат-товарищ,  
С неволи улетим,  
Туда, братец, туда,  
Где светлеет заря!  
Туда, братец, туда,  
Где синеются моря!  
Туда, братец, туда,  
Где в море – круты берега!”

(Донские казацкие песни / Собрал и издал А. Пивоваров. Новочеркасск, 1885. С. 5–6). Здесь образ невольника, сидящего за решёткой, слился с образом орла, который в пушкинском тексте находится на воле, от чего произошло общее смещение смысла. Хотя смысловая точность стихотворения Пушкина нарушилась, выиграла поэтизация центрального персонажа – лирического героя, в авторском тексте не охарактеризованного.

Параллель между узником – добрым молодцем и запертым в клетке соколом – весьма давний мотив старинных тюремных песен, вероятно, известный Пушкину. Но его стихотворение, если оно испытало воздействие таких песен, оказалось связано с ними только общностью темы. Зато фольклорные обработки пушкинского “Узника” иной раз переходят в собственно тюремную песню с её характерными образами, уже не имеющими прямого отношения к первоисточнику. Такова, например, песня, записанная в Томской губернии и возникшая, очевидно, в среде сибирских арестантов; она в четыре раза превосходит по объёму пушкинское стихотворение. В подобных обработках исчезал или затухал его финальный мотив, выражавший оптимистическое стремление к свободе, – уступая место мрачной тональности унылой арестантской песни.

Другая группа фольклорных обработок “Узника” объединяла пушкинскую основу с мотивами традиционных лирических песен, вводя образ девушки, которая грустит одна или делит свою печаль с подругами. Встречаются контаминации с песней “Разлука, ты разлука” и подобными ей. В таких случаях иногда мало оставалось от текста Пушкина.

Но бытовали и устные варианты, где почти без изъятия повторялся пушкинский текст, без каких-либо добавлений, с изменениями лишь отдельных слов. Такова песня, записанная в 1927 году в Московской области и приведённая Н.П. Андреевым, который выделил в ней слова, отличающиеся от пушкинских:

Сижу за решёткой в темнице сырой  
 Вскормленный в неволе орёл молодой,  
 Мой грустный товарищ, махая крылом,  
 Кровавую пищу клюёт под окном,  
 Клюёт и бросает, сам смотрит в окно,  
 Как будто со мною задумал одно.  
 Зовёт меня взглядом, и криком своим  
 Он вымолвить хочет: “Давай улетим!  
 Мы вольные птицы, пора, брат, пора,  
 Туда, где на солнце сияет гора,  
 Туда, где синее морская волна.  
 Туда, где гуляет лишь ветер... да я!”

(Андреев Н. Произведения Пушкина в фольклоре // Литературный критик. 1937. № 1. С. 162). Можно с уверенностью сказать, что это

пушкинское стихотворение полностью вошло в фольклор и испытало в нём судьбу, аналогичную другим интенсивно бытовавшим песням, не имеющим литературного пратекста: песня исполнялась как в первоначальной своей версии, так и в иных, порой существенно от неё удалявшихся.

Несколько иным образом вошёл в массовую устную поэзию “Романс” (“Под вечер, осенью ненастной...”), написанный ещё в 1814 году. Его устные вариации отличаются от своего источника, главным образом, по объёму: из восьми пушкинских строф в фольклорном бытовании сохранялись преимущественно три первые и последняя. Детальное сопоставление песни “Под вечер, осенью ненастной...” с оригиналом обнаружило варьирование отдельных слов, изредка – целых строк, но почти всегда без смысловых отклонений от Пушкина. Например, такие изменения некоторых стихов: “Ко груди не прильнёшь моей” – “Ты не прильнёшь к груди моей”; “Её манить напрасно будешь” – “Судьбу винить напрасно будешь”; “Стыд вечный мне вина моя” – “Мой вечный стыд – вина моя”. Нередки тождественные или близкие по смыслу замены отдельных слов: “далёких” – “пустынных”, “очи” – “глазки”, “покров” – “приют”, “меж” – “среди”, “рощей” – “лесом” и т.д. Правда, согласно заключению проводившей эти сопоставления А.В. Кулагиной, “ряд изменений авторского текста связан с тенденцией к усилению типизации”: у Пушкина – “Под вечер, осенью ненастной...”, в народном варианте – “Однажды осенью ненастной...”, у Пушкина – “детей”, в устных вариантах – “людей” (Кулагина А.В. Пушкин и городской романс // А.С. Пушкин и мировая культура/Международная научная конференция. Материалы. М., 1999. С. 228–230). Эти частные отклонения от оригинала свидетельствуют, прежде всего, о стабильности содержания пушкинского стихотворения в народной песенной традиции, при сравнительно небольшой, в общем, вариативности его формы.

Из пушкинских сказок в устном репертуаре особенно часто встречалась собирателям “Сказка о рыбаке и рыбке”. В ряде случаев передававший её народный сказочник был, вероятно, непосредственно знаком с текстом Пушкина. Такие записи фиксируют начальную стадию фольклоризации литературного текста, когда упрощение и снятие психологических характеристик сопровождалось осовремениванием некоторых эпизодов. У Пушкина дворцовый быт старухи, ставшей царицей, был обрисован в духе XVI–XVII веков, а вариант, попавший в сборник А.Н. Афанасьева, даёт солдатскую трактовку двора императрицы в реалиях XVIII–XIX веков. Ещё более характерны добавления некоторых эпизодов. По записи середины XIX века, первое желание старухи состоит в том, чтобы старик попросил у рыбки хлеба, а в одной из записей советского времени старуха хочет, чтобы ей не нужно было трудиться, а за неё всё делали бы другие.

Народные исполнители следуют в большей степени, чем Пушкин,

стилистической традиции фольклорных сказок. По мере удаления от пушкинского первоисточника эволюция сказки идёт всё дальше, и, согласно недавнему выводу, “превращает её в традиционную народную сказку о наказании ненасытной жадности, рассказанную на новый, неизвестный до Пушкина русскому фольклору, сюжет” (Токарева Е.И. Народные варианты “Сказки о рыбаке и рыбке” А.С. Пушкина // Вопросы жанров русского фольклора. М., 1972. С. 128).

Вместе с тем, отмечались случаи явного проникновения мотивов, идущих от пушкинской “Сказки о рыбаке и рыбке”, в варианты сказок на другие сюжеты. В 1960 году в Архангельской области была записана сказка, где соединились эпизоды сказок “О рыбаке и рыбке” и “О царе Салтане”. Встречались собирателям и контаминации эпизодов обоих этих произведений со сказкой “По щучьему велению”. Сама же “Сказка о царе Салтане”, написанная Пушкиным на фольклорной основе, но с использованием литературных источников, в свою очередь оказывала воздействие на устное бытование фольклорного прототипа: были записаны варианты, отдельные места которых восходят к пушкинскому тексту, что отметил ещё Н.П. Андреев в цитированной нами работе (см.: Литературный критик. 1937. № 1. С. 156–157).

А проведённое Т.Б. Диановой изучение записей, осуществлённых сравнительно недавно экспедициями Московского университета, позволило выделить три типа использования пушкинских сказок в современном фольклоре. Во-первых, это пересказы, для которых характерно “сокращение деталей, описаний, выпадение композиционных блоков, объясняемое адаптацией текста к устному бытованию”. Во-вторых, – контаминации, восходящие не только к сказкам Пушкина. Например, в 1968 году была сделана запись, соединившая “поэпизодно в связное повествование почти все пушкинские сказки”, причём «завершается сюжет пересказом “Вещего Олега” в качестве эпизода, в котором царь избегает гибели». Наконец, в-третьих, освоение пушкинского наследия заключается в том, что из него использованы “имена, фрагментарные стихотворные включения, элементы описаний”, уже «полностью “растворённые” в стихии народной поэзии» (Дианова Т.Б. Сказки Пушкина в архиве кафедры фольклора МГУ // А.С. Пушкин и мировая культура. С. 227–228).

Войдя в народный репертуар, сказки Пушкина проявляют себя в нём так же, как и традиционные сказки, не имеющие литературных источников.

Вклад Пушкина в сокровищницу русского фольклора – факт, конечно, бесспорный, хотя границы этого вклада можно трактовать по-разному – в зависимости от того, относить ли к нему произведения, бытующие устно без значительных вариаций своего литературного источника. Такие творения Пушкина, как “Узник”, “Казак” или “Сказка о рыбаке и рыбке”, варьировались и изменялись в устной традиции по-

рой очень существенно, нисколько в этом отношении не отличаясь от тех произведений фольклора, авторы которых нам неизвестны. Можно заметить, что подобная интенсивность бытования оказалась присуща тем плодам пушкинского гения, где он опирался в большей или меньшей степени на известный ему фольклор. А в случаях, когда такая опора не прослеживается или минимальна, минимальным оказывается, как правило, варьирование при устном исполнении. Но и этим произведениям Пушкина принадлежит подчас весьма заметное место в устойчивом репертуаре русского фольклора.

Фундаментальность тезиса, что Пушкин – не только великий, но и подлинно народный поэт, – покоится, как видим, не в последнюю очередь на данных фольклористики.

*Санкт-Петербург*



**“СПЕРЕДИ ОБЪЯРИННЫЙ,  
А СЗАДИ ПЕСТРЯДИННЫЙ”**

З.А. НОСКОВА,

кандидат филологических наук

Если слово входит в состав пословицы или поговорки, значит, оно настолько обыденно, известно, что может быть для носителя языка обозначением определенного понятия.

Что такое *пестрядь*, большинство читателей знают, но слово *объяринный*, очевидно, вызовет вопрос. Если попытаться найти синоним к приведенному в заглавии выражению, то, скорее всего, это будет всем известный фразеологизм *Не все то золото, что блестит*. Исходя из того, что пословица *Спереди объяринный, а сзади пестрядинный* построена на антитезе, прилагательное *объяринный* должно обозначать дорогую ткань, в противовес дешевой пестряди (пестрядине).

Какая же это была ткань?

Слово *объярь* (*объярь*, *объярь*, *обирь*) вошло в язык на исходе древнерусского периода. В памятниках письменности фиксируется с 1339 года: “а ис порт из моих ... Ивану с(ы)ну моему кожух желтая обирь с женчугом” (Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв. М.–Л., 1950). По мнению М. Фасмера, оно тюркско-

персидского происхождения: *ābdār* – “блестящий, водянистый”, из персидского *āb* – вода, *dār* – держащий (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1987. Т. III.). Другие исследователи, по-разному переводя персидское *ābdār*, тем самым указывают на две отличительные особенности ткани – струйчатость и блеск: “Плотная шелковая ткань (...) с струею золотою или серебряною, с травами, цветками, кругами и др. узорами, цветов наиболее ярких...” (Строев П.М. Выходы государей царей и великих князей... М., 1844); “...плотная шелковая волнистая ткань с золотыми и серебряными струями и с разными узорами. Название этой ткани происходит от перс. (...) абдар (...) волнистый, струйчатый” (Савваитов П.И. Описание старинных русских утварей... СПб., 1896). Преображенский трактовал турецкое *абдар* как “волнистый” и, ссылаясь на устно высказанное мнение Корша, называл источником слова какой-либо диалект турецкого или персидского языков, ибо на русской почве не могло появиться *объярь* из *абдар* (Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. В 2 т. М., 1958. Т. 1).

Историк В.К. Клейн в результате исследования образцов сохранившихся тканей пришел к выводу, что струйчатость встречается только на западных *объярях*, а также на других шелковых тканях, поэтому был склонен считать основным признаком ткани *объярь* блеск. Отсюда его этимология слова *объярь*, сближающаяся с “народной этимологией”: “По-видимому, русские торговые люди из золотого блеска – яри, отличающего эти ткани, нашли возможным объединить их под общим названием *объярей*” (Клейн В.К. Иноземные ткани, бытовавшие в России до XVIII в., и их терминология. М., 1925). Эту этимологию нельзя принять из-за словообразовательных трудностей.

Слово обозначало плотную шелковую ткань без узоров или с узорами, вытканными теми же или другими (серебряными, золотыми) нитями (Словарь русского языка XI–XVII вв. М., 1987. Вып. 12).

Ткань *объярь* была одной из излюбленных материй в русском быту, шла преимущественно на верхнюю одежду: платна, опашни, кафтаны, ферези, телогреи, шубы, верхи шапок, а также на церковные одежды (Клейн В.К. Указ. соч.). По количеству употреблений в памятниках письменности – это одно из популярных названий тканей периода XVI–XVII вв. Слово полностью адаптировано русским языком, имеет немало производных, например *объя(е)рца*, свидетельствующее о проникновении наименования в живую разговорную речь: “На жертвенник одежда *объярца* турецкая алая с травками золочеными” (1689 г. Розыские дела о Федоре Шакловитом и его сообщниках. В 4 т. СПб., 1893. Т. 4).

Ткань имела настолько характерный внешний вид – струйчатость, или разводы, что производные прилагательные *объяринный*, *объяринный*, *объяринный*, *объяринный* обозначали не только принадлежность к

определенному материалу (“сшитый, сделанный из объяри”): “на государе было платьа... сарафан объяринной” (Строев. Указ. соч.), но и могло иметь значение “похожий на объяр”, причем это могло относиться как к ткани: “сорок пять аршин без чети тафты объяринной” (1651 г. О мятежах в городе Москве и в селе Коломенском // Чт. ОИДР 1890. Кн. 3. Отд. 1), так и к любому волнистому узору на другом предмете: “Две иконы написал на меди спасов образ до богородицы, стало два рубли... да написаны были объяринныя травчатые образцы по обом сторонам, стали рубль” (1670 г. Столбцы из б. Архива Оружейной палаты XVII в. // Картотека древнерусского словаря Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН).

Значение “волнистость, струйчатость” стало со временем доминирующим в семантике слова и способствовало забвению других в ограниченной сфере его функционирования (в терминологии торговли). В XVIII веке “Словарь коммерческий...” объясняет *объерь* как вид отделки: “... это подражание волнам, оказывающимся на поверхности вод от легкого поколебания, которое художники производят на разных материях, но в особенности на роде гродетуру, который собственно называется *объерь*” (Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции ... Пер. с фр. яз. В. Левшиным. В 7 ч. М., 1790. Т. 4).

Особая, не похожая на другие, фактура ткани также повлияла на дифференциацию термина, имевшего общее значение “определенный вид шелковой ткани”. Прилагательные в составных наименованиях, как правило, не обозначали особенностей техники изготовления, в отличие, например, от составных наименований, образованных на базе слов *сукно*, *бархат*, а указывали, в основном, на цвет, рисунок. Так, в памятниках деловой письменности упоминаются следующие объяри: “кафтан становой, объярь зелена” (1634 г.); “опашень, объярь светлолазорева”; “ферези объярь темнолазорева”; “опашень, объярь дымчегат” (1648 г.); “объярь бела цветная” (1648 г. Строев. Указ. соч.); “привезено товару на Кириллове судне Босого: ... объяри красные да желтые, 5 ар.” (Таможенные книги Московского государства XVII в. В 5 т. М., 1950. Т. 1); “объярь таусинная” (1683 г. Изюмов А.Ф. Вкладные книги Антониева Сийского монастыря 1576–1694 (7084–7202) гг. // Чт. ОИДР. 1917. Кн. 2. Отд. 1). В описании платья царя Михаила Федоровича встречается “объярь красновишнева”, “светлолимонна”, “рудожолта”, “малиновый цвет” (1629 г. Платье царя Михаила Федоровича, 1629 г. // Записки имп. Археологического общества. СПб., 1865. Т. 2).

Большое количество цветовых определений говорит о широком распространении предмета на внутреннем рынке, а также о том, что слово, обозначающее данную реалию, обладало исчерпывающим набором сем и не требовало дополнительного описания уточняющего характера, кроме цветового.

Составные наименования со словом *объярь*, в которых определение образовано от топонимов, единичны: “объярь турецкая травная” (1694 г. Книги Московской большой таможи 1693–1694 гг. – Новгородская, Астраханская, Малороссийская. М., 1961. Л. 150 об.); “объярь... золотная виницейская” (Строев. Указ. соч.). Иногда определение избыточно: “11 косяков объярей шелковых” (1676–77 гг. Таможенные книги Московского государства XVII в. В 5 т. М.–Л., 1950. Т. 3). Подобное употребление прилагательного *шелковый* можно объяснить характером делового документа, где точность описания является обязательной.

Встречаются описания развернутого типа, приведенные П.М. Строевым: “объярь по серебряной земли травы золотный” (1662 г.); “объярь по червчатой земле травки шолк желт” (1677 г.). На особенность ткани могут указывать определения, носящие эмоциональную оценку: “шуба объярь золотная лученчета, испод соболий” (1661 г.); “шуба объярь зелена струевата с золотою струею” (1649 г. Строев. Указ. соч.). Как видно из приведенного материала, все объявления можно разделить на два основных вида – простые и золотные, то есть те, где применялись золотые и серебряные нити. В одних случаях на вид объявления указывали определения *золотный* и *серебряный*: “опашень объярь серебряна цветная” (1629 г. Платье царя Михаила Феодоровича); “аршин объявления золотной цена 3 руб. съполтиною” (Списки с товарных ценковых росписей и перечневая выписка по городу Енисейску XVII в. // Чт. ОИДР. 1900. Кн. 2. Отд. 1); “... и потом царя дарят бархатами ж ... и объявления золотными и серебряными” (1666–67 гг. О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григорья Котошихина. СПб., 1913. 2-е изд.). В других случаях то, что ткань была золотой, было ясно из развернутого описания типа “объярь червчата с золотою струею” (1629 г. Платье царя Михаила Феодоровича); “объярь бела, травы золоты” (Там же).

В отдельных случаях прилагательное могло называть качество материала: “аршин объявления плохой цена рубль с полтиною” (Списки с товарных ценковых росписей...) – естественно, что подобные определения существенны документам, связанным с торговлей.

Существительное *объярь* и его производные были в употреблении еще в XVIII веке, о чем свидетельствует включение слов в “Словарь Академии Российской”. Но уже в XIX веке использовалось писателями как историзм: И.И. Лажечников употребил его в романе “Последний Новик”, посвященном эпохе начала XVIII века. Встречается данное наименование и в современной исторической прозе, например, в романе Чапыгина А.П. “Гулящие люди”.

По данным словарей Даля и Преображенского, *объярь* во второй половине XIX – начале XX веков было известно живой разговорной речи. Словари, без указания на источник, приводят форму *объярина*.

образованную по известной словообразовательной модели, типичной для наименований тканей. В данном случае суффикс *-ин(а)* придает слову эмоционально сниженную окраску и, с другой стороны, способствует включению его в группу древнерусских наименований типа *частина, уновина, тълстина* – то есть придает “русский облик”. Словообразовательная адаптация произошла, вероятно, только в устной речи, так как в памятниках письменности эта форма не встречается, но словари ее все-таки фиксируют.

О популярности ткани говорит вхождение лексемы, ее обозначающей, в устойчивое выражение: *Спереди объяринный, а сзади пестрядинный* (Преображенский. Указ. соч. Т. 1), где слово имеет обобщенное значение “дорогая шелковая ткань” и является символом богатства и благополучия; антонимично *пестряди(не)* – дешевой крестьянской ткани. На то, что объярь ценилась высоко, указывает Н.И. Костомаров: “Аршин золотой и серебряной объяри с узорами ценился в XVII веке от 10 до 11 1/2 р. и вообще принималось, что ценность аршина объяри приближалась к цене фунта серебра” (Костомаров Н.И. Очерки торговли Московского государства в XVI–XVII столетиях. СПб., 1862).

Следует отметить, что в словарях XIX – начала XX веков слово толкуется с помощью синонимичного *муар (муаре)*: “*объярина* – всякая волнистая или струистая ткань, муаре” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т., М., 1982. Т. II); “*объярь* – *стар.* муар, род шелковой материи” (Преображенский. Указ. соч. Т. 1). Уход слова *объярь* в пассивную лексику объясняется лингвистической ситуацией, возникшей в XVIII веке – в период активного заимствования, вызванного развитием культурных, экономических, торговых отношений с Западной Европой. По свидетельству мемуаристов, на что ссылается Р.М. Кирсанова, *объярью* уже в XVIII веке называли именно *муар* (Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм – вещь и образ в русской литературе XIX в. М., 1989).

Луганск,  
Украина

## ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

В.В. ШАПОВАЛ,

кандидат филологических наук

Выражения *цыганский барон* нет ни в толковых, ни во фразеологических словарях. По всей вероятности, оно не фиксируется потому, что представляется такой же тривиальной метафорой, как *черное золото* “нефть”, *царица полей* “кукуруза”, или даже описательным обозначением, речевой находкой типа *американский рубль* “доллар”, *китайские буквы* “исероглифы”.

Прилагательное *цыганский* употребляется еще в целом ряде метафорических выражений, например, разговорное: *цыганский пот* “дрожь, озноб”, *цыганская иголка* “большая игла”, а также в криминальном арго: *цыганское солнце* “ночное светило: луна, месяц”; *цыганский профсоюз* “сборище, компания бродяг”; *цыганская игла* “длинное шило” (Балдаев Д.С. Словарь блатного воровского жаргона. В 2-х т. М., 1997. Т. II.; Быков Влад. Русская феня. Словарь современного ин-тержаргона асоциальных элементов. Смоленск, 1994). Прилагательное *цыганский* здесь выступает в качестве сигнала устойчивости и фразеологичности словосочетания и указывает на какой-то необычный сдвиг исходного значения существительного: *цыганский барон* “что-то вроде барона”, *цыганская игла* “особый тип иглы” и т.п. Нельзя не отметить, что и существительное *барон* входит в ряд однотипных номинаций, возникших на основе метафорического переноса, например *нефтяные бароны* и близкие к ним по типу переосмысления исходного значения слова *барон*, например *наркобарон*. Поэтому устойчивость и фразеологичность выражения *цыганский барон* воспринимается как результат такого же метафорического переноса. О принципиальной близости рассмотренных словосочетаний свидетельствует и возможность их контаминации в речи, как, например, в названии газетной статьи “Рабьяня цыганских наркобаронов”, где речь идет об использовании наркозависимых людей в наркобизнесе (Комс. правда. 1997. 10 окт.).

Ясно, что *цыганский барон* – это не то же, что *немецкий барон*, *остзейский барон* или *барон Мюнхгаузен* ... и даже *черный барон* – барон Врангель: “Нередко, говоря о цыганских баронах, русские цыгане подразумевают просто богатых, состоятельных цыган”, – указывали русские цыганологи Е. Друц и А. Гесслер (Сказки и песни, рожденные в дороге. М., 1985).

Словосочетание *цыганский барон* распространилось в России прежде всего как перевод названия оперетты Иоганна Штрауса-сына “*Der Zigeunerbaron*”, созданной в 1885 году. “Цыганский барон”, одна из самых популярных классических оперетт в репертуаре дореволюционного русского театра, часто ставилась и в советскую эпоху.

Попробуем уточнить время появления русского перевода: под названием “*Цыган-барон*” перевод М.Г. Ярона (отца известного актера Г.М. Ярона) вышел в московском издательстве “А. Гутхейль” в 1892, т.е. через семь лет после создания оперетты. Некоторые другие дореволюционные издания не имеют даты, но они стереотипно воспроизводят текст уже упомянутого московского издания. Это же издательство позднее (уже без указания переводчика, очевидно, после приобретения у М. Ярона всех прав на издание, а следовательно, после 1892 г.) выпустило версию с немецким титульным листом. Потом издательские права перешли к петербургскому издательству “А. Бюттнер”, которое опубликовало стереотипный русский текст М. Ярона и немецкий титульный лист, обрезав лишь “*Edition A. Gutheil*”. Любопытно, что русский вариант названия “*Цыган-барон*”, появившийся в переводе 1892 года М.Г. Ярона, в указанных переизданиях отсутствует. В Российской государственной библиотеке дореволюционных изданий с русским титулом “*Цыганский барон*” нет. Лишь рукописный подзаголовок “*Цыганский баронъ*” обнаруживается на одном экземпляре бюттнеровского недатированного издания для фортепьяно (ноты без текста, с немецким титульным листом), примерно 1890-х годов (на стр. 3 под словом *Ouverture*, справа владельческая надпись другим почерком: Победимов, экз. РГБ). Таким образом, уже в начале 1890-х годов немецкое *der Zigeunerbaron* было калькировано “в лоб” (*цыган-барон*) и, вероятно, несколько позже (иначе переводчик использовал бы вариант названия, подкрепленный устной традицией) переведено более естественно существительным с согласованным определением (*цыганский барон*). Второй вариант и по размеру более точно соответствовал образцу, что несомненно в таких переводах, где каждый слог необходимо положить на партитуру “обратно”.

Обращаясь к корням немецкого *цыган-барона*, естественно спросить: “Почему именно этот титул был выбран для обозначения цыганского вожака в немецкой оперетте?” Ответ находим в цыганском языке, где прилагательное *баро/баро* значит “большой, великий”, а форма мужского рода используется также как одушевленное существительное “глава семьи или табора” (Цыганско-русский словарь. М., 1938; Wolf S.A. Grosses Wörterbuch der Zigeunersprache. Mannheim, 1965). Широко известно и словосочетание *ром баро* “взрослый мужчина; видный, уважаемый цыган; *pater familias* [отец семейства]”, например: “О Дёрдица ром баро – Дёрдица, видный цыган” (Образцы фольклора цыган-кэлдэрарей, М., 1981); название народной песни “Ром баро” в обработ-

ке Н. Жемчужного так и переведено “Большой цыган”, что, конечно, не отражает во всем объеме значение этого устойчивого выражения (Пой, цыган. Песни и романсы Н. Жемчужного. Мелодия. М., 1990). Н. Логинова, назвавшая свою статью памяти одного из основателей театра “Ромэн” И.И. Ром-Лебедева “Ром Баро”, комментирует этот экзотизм так: “Ром Баро – это по-цыгански вожак, крупная личность, значительный, удачливый, сильный” (Лит. газета. 1991. 23 янв.). Есть подобное словосочетание и у зарубежных цыган, поэтому *Zigeunerbaron* можно считать своеобразной полукалькой цыганского обозначения *ром-баро* (букв. “цыган + большой” / “цыган + вожак”), в котором первая часть *ром* переведена *Zigeuner*, а вторая замещена по созвучию слов и сходству значений титулом *Baron*. Учитывая, что либретто *Zigeunerbaron* было написано на основе повести венгерского писателя Мора Йокаи, необходимо учесть посредство венгерского языка. Повенгерски повесть называется “*A cigánybáró*”, где *báró* – барон, того же происхождения, что и в других европейских языках.

Как известно, в Европе титул *барон* распространился через средневековую латынь из древневерхненемецкого, где *baro* значило “воинственный человек” (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1986. Т. I). В русский язык слово *барон* пришло из французского или немецкого (Словарь современного русского литературного языка. М.–Л., 1948, Т. 1). Официально титул *барон* в России ввел в начале XVIII века Петр I. Первым русским бароном стал в 1710 году Петр Шафиров (в 1723 г. по обвинению в финансовых злоупотреблениях лишенный чинов, титула и имения). Европейский титул *барон* был введен, как предполагают, специально для поднятия престижа “новой знати”, однако баронство, исключая потомственных остзейских баронов, “не вызывало особого уважения” (Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб., 1994). Таким был исторический фон, на котором происходило распространение в России выражения *цыганский барон*.

Как можно понять из уже сказанного, созвучие между оригинальным названием цыганского вожака и титулом *барон* в целом ряде европейских языков создало ситуацию, в которой отождествление этих слов могло происходить неоднократно и независимо. Благодаря этому и венгерское *báró* и немецкое *Baron* (барон) практически безальтернативно были выбраны в качестве перевода цыганского названия вожака *баро*. “Русские плохо расслышали и думают, что это барон, “– пишет Н. Логинова (Указ. статья). «В известной мере применению слова *барон* способствует игра слов: “барон” – *баро шэро* (цыг. “большая голова”) или просто *баро* – “вожак табора”» (Друц, Гесслер. Указ. соч.). «На происхождение арготизма *барон* (цыганский) – “вожак табора; неофициальный лидер у цыган” повлияло и русское слово *барон* и цыганское *барó* – “вожак цыганского табора” ...» – констатирует М.А. Грачев (Русское арг. Нижний Новгород, 1997).

Правда, в отношении этой пары слов существует также и ряд иных мнений, иногда диаметрально противоположных. Французский арготолог Алиса Беккер-Хо недавно высказала предположение, что общевропейский *baron* находится в некоторой исторической зависимости от цыганского *baro*: французский арготизм *baron* “соучастник, играющий роль богача в каком-либо мошенничестве; альфонс” и др. она сближает с цыг. *baro* “вожак” (Becker-Ho Alice. Les princes du jargon. Paris, 1993). В целом она настаивает на максимальной роли цыганского языка в формировании криминальных аргослов Европы, однако схематизм изложения не позволяет решить, идет ли речь в данном случае о цыганском влиянии только на формирование приведенных выше арготических значений, или же вообще о заимствовании слова *барон* из цыганского. Заметим, что эти значения вполне согласуются с переносным ироническим употреблением французского *baron* в значении “personnage important par ses richesses et par la position qu’il occupe” – “важная особа, заметная благодаря своим богатствам и занимаемому положению” (Grand dictionnaire universel du XIX-e siècle. Т. 2). Подобным же образом и русское *барон* становится переносным ироническим наименованием богатея, магната (нефтяные бароны, наркобароны), чему существует историческое объяснение. “Русский барон – как правило, финансист, – отмечал Ю.М. Лотман, – а финансовая служба не считалась истинно дворянской” (Лотман. Указ. соч.). На наш взгляд, предполагать участие цыганского языка в формировании такого рода переносных употреблений излишне, а доказать наличие такого влияния весьма непросто.

С другой стороны, и цыганское *baro* “вожак, старейшина” не всеми признается исконным. Например, оно выделяется в качестве омонима прилагательного *baro* “большой, значительный...” и считается заимствованием из венгерского (*báró* “барон”) в капитальном словаре кэлдэ-рарского диалекта (Цыганско-русский и русско-цыганский словарь / Под ред. Л.Н. Черенкова. М., 1990). И все же такому предположению противоречит ряд обстоятельств. Цыганское слово *baro* “вожак, старейшина” известно вне ареала цыганско-венгерских контактов и является субстантивированным прилагательным: цыганское югославское *baro König* (король), форма женского рода – *hari Königin* (королева), форма сравнительной степени – цыганско-немецкое *baridir Häuptling* (главарь, вожак) и др., ср. и синонимичные выражения: *baro шэро* – глава табора, буквально “большая голова”, цыганско-немецкое *Zigeunerhauptmann* (цыганский вожак), буквально “старший по вопросам правды” (Wolf. Указ. соч.). Как можно видеть, перенос “большой” → “начальник” охватывает всю парадигму прилагательного *baro* и словосочетания с ним, а с венгерским *báró* “барон” созвучна только форма мужского рода единственного числа. Кроме того, именные заимствования в цыганском сохраняют конечный гласный основы, поэтому в случае заимствования было бы \**барос-кэ* (дат. ед.), но *баро*

употребляется в формах косвенных падежей исконного типа: *барэс-кэ* и т.д.

Следовательно, есть все основания предположить, что появление *báro* в венгерском *ciġanybáro*; *Baron* в немецком *Zigeunerbaron* и *барон* в русском *цыганский барон* обусловлено влиянием цыганского (а не наоборот), и указанные элементы имеют иное происхождение, нежели европейский дворянский титул, с которым наименование цыганского вожака *баро(н)* было сближено – вплоть до полного отождествления. Различное происхождение одинаково звучащих слов, как известно, является одним из признаков омонимии. Таким образом, в русском словаре присутствует пара омонимов, имеющих различное происхождение и проникших в русский язык в разное время: *барон* 1 (дворянский титул) – из французского или немецкого в начале XVIII века; *барон* 2 (цыганский вожак) – из цыганского при вероятном посредстве немецкого, венгерского языков (вскоре после 1885 г.).

*Цыганский барон* в литературном языке стоит особняком, но в современном криминальном аргю обнаруживаются два заимствования с тем же общецыганским, индийским по происхождению корнем *bar-* (Rishi W.R. Multilingual Romani Dictionary. Chandigarh, 1974). Так, наряду с *барон* “глава большой цыганской семьи”, фиксируется и прямое заимствование из цыганского с пометой *международное: баро* “большой; старший” (Словарь тюремно-лагерно-благотного жаргона. Одишова, 1992; Мильяненко Л.А. По ту сторону закона. СПб., 1992). Арготизм *баро* имеет параллели в немецком аргю: *baro gross* (Wolf S.A. Wörterbuch des Rotwelsch. Mannheim, 1956). Ранее, перед 1927 годом был записан также не получивший широкого распространения арготизм *райбаро* “агент угрозыска”, от цыганского *рай баро* буквально “барин большой” (Потапов С.М. Словарь жаргона преступников. М., 1927; Баранников А.П. Цыганские элементы в русском воровском аргю // Язык и литература. Л., 1931. Т. VII). Оба слова вне данных словарей не отмечены.

Примечательно, что номинация *райбаро* только порядком составных частей отличается от толстовского экзотизма *барарай* и *барорай* – буквально “большой барин, господин”, ср. *баро рай*, который в “Живом трупе” Л.Н. Толстого вкраплен в реплику Феди Протасова в разговоре с цыганом:

“Цыган (к Феде). Вас барин спрашивает.

Федя. Какой барин?

Цыган. Не знаю. Одет хорошо. Соболья шуба.

Федя. Барарай? Ну что же, зови” (Толстой Л.Н. ПСС. Т. 34). Характерно, что в ранних редакциях Л.Н. Толстой вкладывал это слово в уста цыгана.

Вариант \*1, рукопись № 5:

“Цыган. Барин хороший (барорай).

Ф е д я. Ну что же, зови”.

Вариант \*2, рукопись № 7:

“Ц ы г а н. Барин значительный (барорай).

Ф е д я. Ну что же, зови”.

Лишь позже этот цыганизм переместился в реплику Феди, что соответствует общему принципу: цыганские слова встречаются у Толстого только в речи “гостей”, как бы подчеркивая их стремление выглядеть своими у цыган. Собственно говоря, что *баро рай*, что *рай баро*. Это любой “начальник”. Например, в фольклорной песне “Адо форо” (“Тот город”) из спектакля “Мы – цыгане” театра “Ромэн” так называют полицейского:

“Сыр баро рай кэ мэ ли подгыйа,  
И о лыла йов мандыр отлыа...” –  
(Как большой начальник ко мне подошел,  
И документы он у меня отобрал...)

Употребление цыганского *райбаро* по отношению к Каренину не совсем уместно, во всяком случае, забавно. Чтобы это понять, надо учесть, что в социальных координатах цыгана важнее всего то, что Каренин и Протасов равны по статусу (здесь подходит *пишал* брат, *пишалоро* братец, но никак не *райбаро* – хоть на Каренине и соболя шуба: ведь для Феди Протасова, да и для цыгана, он не начальник).

Таким образом, за пределами литературного лексикона у *барона 2* (цыганского барона) обнаруживаются вполне узнаваемые цыганские родственники: арготизмы узколокального распространения *баро* “большой, старший”, *райбаро* “агент угрозыска”, а также авторские экзотизмы *барорай* “барин” и уже упомянутый *Ром Баро* “авторитетный цыган”.

## БЕЖЕВЫЙ

Н.С. АРАПОВА,

кандидат филологических наук

Значение слов *беж* и *бежевый* понятно всем говорящим по-русски. Словарь М. Фасмера этих слов не рассматривает. Этимологический словарь русского языка Н.М. Шанского (М., 1965. Т. I. Вып. 2) в качестве заглавного слова приводит только прилагательное *бежевый*, о котором сообщается, что это слово, переоформленное на русской почве с помощью суффикса *-ев-*, заимствовано из французского языка в XX веке. Первая фиксация слова не указывается. Не приводится она и в семнадцатитомном Словаре современного русского литературного языка.

В.В. Виноградов также считал, что это прилагательное заимствовано из французского языка в XX веке (История слов. М., 1994).

В 1888 году английский писатель У. Безант опубликовал роман “В царстве разумного”. Перевод этого романа на русский язык вышел в 1889 году. Роман Безанта – своего рода антиутопия, в весьма непривлекательных красках описывающая будущее человечества, воплотившего в жизнь идею всеобщего равенства. Все равны и все одинаково одеты: мужчины – в “костюм серого цвета из материи, которая называется беж”; женщины “носят серую бежевую юбку с кофточкой из серого бежа”.

Итак, *бежевая* одежда имеет серый цвет! Тогда что же такое *беж*? И.И. Татищев в своем словаре отмечал: “beige, беж, род саржи, шерстяной материи” (Татищев И.И. Полный французско-русский словарь. М., 1816). Более подробно эта ткань описана в Словаре коммерческом 1791 года, где она называется *бейже*: русское написание нобуквенно воспроизводит французское *beige* “саржа цвету овечьей шерсти, кои называются саржами натуральными, кои ткуются из ниток неокрашенных, но пряденых из волны черной, бурой или рыжей, таковой, как снимается она с овец. Пуатевинцы [жители провинции Пуату. – Н.А.] называют сии саржи *бейже*”.

Мы видим, что слово *беж* исконно означало ткань саржевого переплетения из некрашеной пряжи. Поэтому *беж* мог быть черным, серым, грязно-белым, кремовым, рыжеватым. Такое значение слова *беж* сохраняется вплоть до Первой мировой войны. В словаре Стояна чита-

ем: “**Беж**, тонкая шерстяная ткань” (Стоян П.Е. Малый толковый словарь русского языка. СПб., 1913. Т. 2). Слово *беж* помещено не в основном корпусе словаря, а в дополнениях к нему.

Словари современного французского языка указывают только одно – цветное значение слова *beige* – бежевый. Оно возникло на базе значения “цвет натуральной некрашеной шерсти” (Dauzat A., Dubois J., Mitterand H. Nouveau dictionnaire etymologique et historique de la langue française. Paris, 1981). Но академический словарь французского языка 1762 года отмечает слово *beige* еще и в значении “сорт саржи из некрашеной овечьей шерсти” (Bloch O. et Wartburg W. Dictionnaire etymologique de la langue française. Paris, 1960). Именно в этом значении французское *beige* проникает в ряд европейских языков, в том числе в английский и русский.

Существительное *беж* в качестве заглавного слова отмечается в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (т. 5), а в статье “шерстяные ткани” в том же словаре (т. 39 а) читаем: “Под именем *беж* известна легкая ткань, пряжа для которой приготовлена из смеси крашеной мериносовой шерсти с некрашеной”, т.е. меланжевой.

Итак, за сто лет, отделяющих Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона от Словаря коммерческого, наметились изменения: ткань *беж* превращается в меланжевую.

Русские словари вплоть до Энциклопедического словаря Граната ели и приводят слово *беж*, то только в значении “сорт шерстяной ткани”. Но уже в Толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова слово *беж* фиксируется только как неизменяемое прилагательное со значением “светлокоричневый, с кремовым оттенком. Чулки цвета б[еж].” (М., 1935. Т. 1) и указывается правильное произношение этого слова с твердым *б*: *бэж*. На той же странице находим и прилагательное *бежевый* с пометой *разг[оворное]* без указания на твердость *б*. Ни в статье *беж*, ни в статье *бежевый* нет ни слова о шерстяной ткани *беж*.

В свете уже изложенного напрашивается предположение, что слово *беж* заимствовалось русским языком дважды: сначала это было профессиональное слово текстильщиков и означало сорт ткани. Вторично оно было заимствовано из французского языка позже только как цветообразование, вне всякой связи с названием ткани *беж*. В современном русском литературном языке несклоняемое прилагательное *беж* употребляется редко. Оно практически вытеснено суффиксальным производным *бежевый*.

**В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвикова**  
**ЧИТАЯ И ПОЧИТАЯ ГРИБОЕДОВА.**

*Крылатые слова и выражения*

Пожалуй, нет такого произведения в русской литературе, которое столь часто бы цитировалось. Почти каждая строчка комедии А.С. Грибоедова стала крылатым словом. А по частотности употребления ее можно сравнить если только с Библией или с творением Ильфа и Петрова. Хотя не каждый, кто упомянет к слову крылатое выражение Грибоедова, может назвать его автора. Хорошо ли это? На этот и другие вопросы попытались ответить Наталия Дмитриевна Бурвикова и Виталий Григорьевич Костомаров – авторы книги “Читая и почитая Грибоедова. Крылатые слова и выражения”. Эта книга в первую очередь адресована молодежи – учащимся старших классов, а также их учителям и родителям, она будет полезна и тем, кто изучает русский язык как иностранный.

“Работал-работал писатель над произведением, стремясь довести его до ума и сердца читателей, оттачивал форму, искал единственно нужные слова, и вот тебе – потомки не все оказываются благодарными...”, – сетуют авторы книги и приглашают прочитать бессмертную комедию А.С. Грибоедова вместе с ними.

Начиная с названия “*Горе от ума*”, авторы комментируют и толкуют почти все фразеологизмы, встречающиеся в комедии: *Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев и барская любовь* – “Это слова Лизы, благополучно выпроводившей старого барина из покоев Софьи. Мы произносим эти слова в ситуации, когда оправдываем свое желание быть подальше от начальства. Так спокойнее...” *Счастливые часов не наблюдают* – “Так Софья объясняет Лизе, почему она не заметила рассвета. Действительно, если человек счастлив, он не будет смотреть на часы и спешить куда-то. Так было в XIX веке, так есть сейчас и так будет всегда”; *Нельзя ли для прогулок / Подальше выбрать закоулков?* – “Этими словами Фамусов упрекает Молчалина за пребывание рано утром на женской половине дома. А разве не можем мы сейчас этими же словами сказать собеседнику, который намеренно забрел туда, где ему быть совсем не следует? И это будет красивее, чем отправить его подальше более привычным образом...”; *Шел в комнату, попал в другую* – “Так Софья пытается оправдать в глазах отца очутившегося рано утром около ее спальни Молчалина. Мы сейчас произносим эти

слова с иронией, оправдывая свое или чужое неожиданное пребывание где-то...”; *Блажен, кто верует, тепло ему на свете* – “Эта ироническая реплика Чацкого в ответ на явную неправду в словах Софьи о том, что она все время спрашивала путешествующих, не встречал ли кто из них Чацкого. И мы можем произнести эти слова в ситуации сомнения в чьих-то действиях, в их целесообразности и т.п.”; *И дым отечества нам сладок и приятен* – “Это говорит Чацкий, подводя итог своим путешествиям. Восходят слова к Г.Р. Державину, который в свою очередь взял их из гомеровской “Одиссеи”. Вот какой длинный путь в веках могут проложить точно найденные слова. И этот путь продолжается и в наше время: представьте себе, что вы провели летние каникулы... ну, скажем, на Гавайских островах. У нас нет такого ласкового солнца, но разве не приятно вернуться домой?”; *Числом поболее, ценою подешевле* – “Так Чацкий оценивает поиск московскими благородными семьями воспитателей-иностранцев. Брать учителей побольше, пусть худшего качества, но платить им поменьше. И сейчас вряд ли кто захочет сделать наоборот, обращаясь, например, к репетиторам”; *Смешенье языков: французского с нижегородским* – “По словам Чацкого, на московских балах французский язык звучит с “нижегородским” акцентом. Зло, конечно, но справедливо. В наше время, когда на каждом углу расклеены объявления о том, что вас за месяц научат любому языку, полезно помнить эти слова Чацкого, чтобы не попасться в рекламную ловушку и не заговорить на американском варианте английского языка с московским акцентом”; *Служить бы рад, прислуживаться тошно* – “Этими словами Чацкий в беседе с Фамусовым оправдывает свою бездеятельность: делами именья он не занимается, на службе не состоит. Уж Молчалин на его месте служил бы и прислуживался. Приятно хоть так укорить соперника. Кстати, вот вам вопрос “на засыпку”; а разве каждый, кто служит, прислуживается? Впрочем, слова Чацкого тем и хороши, что их толковать и использовать можно всегда в своих интересах. Чего и вам желаем”; *Свежо предание, а верится с трудом* – “В том же монологе о двух веках Чацкий таким образом оценивает воспоминания Фамусова о возможности сделать карьеру при дворе – случайно упасть, вызвав тем смех Его Величества. С помощью этих слов вы можете и сейчас усомниться в рассказанном вам относительно недавно происшедшем случае”; *И говорит, как пишет* – “Этими словами Фамусов, несмотря на усиливающуюся неприязнь к Чацкому, все-таки отдает должное красноречию собеседника. Вот бы заслужить такую похвалу на уроке литературы или русского языка!” и т.д.

Авторы книги отметили и “говорящие” фамилии героев: “**Фамусов** – это хлебосольный барин, очень прислушивающийся к мнению своего круга, боящийся всего нового. **Молчалин** – осторожный лицемер-карьерист, угождающий всем вышестоящим, педант и аккуратист. Он не церемонится с теми, кто ниже его по социальному статусу” и т.д.

Далее авторы рассказали об истории создания Грибоедовым “Горя от ума”, приведя массу примеров, которые показывают, как скрупулезно автор комедии подходил к слову. Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров цитируют для примера несколько вариантов монологов Фамусова, Чацкого и других персонажей. Приводят весьма интересные факты по поводу исчезновения со страниц рукописей строчек *шумим, братец, шумим; чины людьми даются, а люди могут обмануться* и т.д.

Читателям интересно будет узнать, какой путь прошла комедия Грибоедова от своего рождения до наших дней, например «отдельное издание “Горя от ума” появилось в 1833 г. Это было воспроизведение театрального текста. Николай I велел печатать, как играется (...) До этого в 1831 г. в Ревеле был напечатан немецкий перевод – и с разрешения цензуры!». Авторы книги рассказывают об изданиях в полковых типографиях (русское офицерство очень интересовалось литературой), о подцензурных, анонимных и бесцензурных изданиях комедии. С 1869 года стали появляться и школьные издания.

Любителям русского языка, а таковыми, как мы считаем, являются все наши читатели, будет интересно познакомиться с этой книгой еще и потому, что авторы приводят много примеров о присутствии грибоедовского слова в современной речи «“Пыжова однажды в четыре часа утра, когда мы вышли на улицу с ночной репетиции [авторы приводят воспоминания Рины Зеленой. – Т.К.], сказала мне, как после бала у Фамусова: Когда/нибудь с капустника – в могилу”».

И вы, конечно, можете подобным образом выразить свою смертельную усталость после дискотеки, контрольной работы:

Когда-нибудь с контрольной (дискотеки и т.п.) да в могилу». Но Н.Д. Бурвикова и В.Г. Костомаров призывают цитировать с умом, не оскорбляя достоинства художественного произведения и его автора. Они предлагают читателям потренироваться в употреблении крылатых грибоедовских выражений применительно к сегодняшнему дню: “Заболел в классе лучший ученик, победитель олимпиад по большинству предметов. Переутомился, наверно – *Горе от ума*”; “Вы вернулись домой после каникул. Как все-таки хорошо дома! – *И дым отечества нам сладок и приятен*”; “Подружки считают, что вам нравится Вася! Вы с этим не согласны – *Герой не моего романа*”; «Девочки вашего класса побывали на концерте Филиппа Киркорова. Они захлебываются от впечатлений. Прокомментируйте их поведение с иронией – *Кричали женщины “ура” и в воздух чепчики бросали*» и т.д.

Заключительную часть книги можно адресовать учителям. Материал, который предлагают авторы читателям, можно использовать на уроках литературы, например для контрольной работы. Он составлен так, что не вызовет скуки у учащихся, а, наоборот, привлечет их внимание и заставит не просто “пройти” комедию Грибоедова “Горе от ума”, а внимательно прочитать ее, причем используя научный поиск,

хватку источниковеда. Приведем примеры из последней главы книги Н.Д. Бурвиковой и В.Г. Костомарова.

«В Великобритании по праву гордятся творчеством Шекспира. И часто выходят книжки, проверяющие, насколько хорошо жители туманного Альбиона знают пьесы великого драматурга. Каждый может проверить свою компетентность.

Вот и мы решили предложить вашему вниманию вопросы, на которые может ответить тот, кто внимательно читал текст “Горя от ума”:

- I. 1. Как звали отца, мать (имена, отчества), обоих дедушек (имена) Чацкого?  
2. Как звали учителя танцев, который обучал этому искусству Чацкого и Софью? {...}
- II. Ответьте на вопросы:  
1) Кто не наблюдает часов?  
2) Кому тепло на свете? {...}
- III. Продолжите:  
1) Минуй...  
2) Читай...  
3) Ври... {...}
- V. Ответьте на вопросы:  
1) Чин Скалозуба?  
2) Область возможного применения способностей Чацкого?  
3) Сколько в то время надо было иметь душ, чтобы слыть хорошим женихом? И сколько душ было у Чацкого?  
4) Из какой материи шили платья благородные девицы?»

В конце книги можно найти и ответы на все вопросы, поставленные Н.Д. Бурвиковой и В.Г. Костомаровым.

*Т.С. Колмакова*

## Т.Г. Никитина. ТАК ГОВОРIT МОЛОДЕЖЬ

Долгое время проблему молодежных жаргонов исследователи обходили стороной, считая ее недостойной изучения. Это связано, безусловно, с политическими и социальными условиями жизни 70–80-х гг. в нашей стране. Таким образом, к концу XX века в лингвистике чувствуется ощутимый недостаток в теоретическом и лексикографическом описании молодежных жаргонов.

Выход в свет в издательстве “Фолио-пресс” в Санкт-Петербурге фундаментального труда Т.Г. Никитиной – нового словаря молодежного сленга “Так говорит молодежь” – восполняет заметный и давно ощущавшийся пробел в лексикографии жаргонов.

Второе издание словаря (первое представляло собой опыт словаря. Молодежный сленг. М., 1994) расширено за счет материалов 1996–1998 годов. Корпус словаря, расположенный на 592 страницах, насчитывает около 6000 лексических единиц. Как пишет Т.Г. Никитина, словарь в отличие от появлявшихся ранее небольших лексикографических опытов описания молодежного сленга 70–90-х годов ставит своей целью полное, системное, в традициях русской лексикографии, описание молодежного лексикона. Сленг, будучи своего рода языком в языке, функционирует не только в живой речи, но все чаще и чаще оказывается на страницах газет и журналов. В результате значения некоторых слов и выражений становятся непонятными, недоступными для большинства читателей. Поэтому словарь Т.Г. Никитиной может быть интересен не только специалистам – лингвистам, социологам, психологам, но и представителям старшего поколения, и преподавателям учебных заведений, так как им будет полезно знать, на каком языке говорят молодые.

Автор словаря ставил перед собой цель включить как можно больше слов, объяснив их лексическое и грамматическое значение, снабдив их достаточной информацией об эмоционально-экспрессивной окраске и сфере употребления для того, чтобы читатель смог определить, в какой речевой ситуации и где функционирует та или иная единица.

Отечественный молодежный сленг характеризуется некоторыми особенностями, которые, на наш взгляд, удачно отражены в изданном словаре. Прежде всего, стоит отметить, что сленг – это своего рода языковая игра, которая позволяет молодому поколению отстраниться, отграничиться от старших. Большинство лексем здесь, в известном смысле, избыточно, едва ли не каждая единица имеет в литературном

языке полнозначный эквивалент, отличающийся от жаргонизма нейтральной эмотивно-экспрессивной окраской. Ср. *жбан* – “голова”, *жига* – “зажигалка”, *исповедь* – “экзамен”, *истерики* – “студенты исторического факультета”.

Следующая особенность, плавно вытекающая из первой, – депрециативность: сленг противопоставляет себя не только старшему поколению, но и официозу (особенно это характерно для молодежных жаргонов 70–80-х гг.). Именно в это время появляется в речи молодежи большое количество иноязычных слов (часто трагически искаженных, измененных на русский манер типа *бездник* – “день рождения”, *выдринкать* – “выпить”), преимущественно англицизмов.

Иноязычные лексемы составляют приблизительно 30% от всего материала, из них львиная доля приходится на существительные (т.к. они легче всего ассимилируются языком в плане грамматики): *дор* – “дверь”, *айзы* – “глаза”, *ботл* – “бутылка”, *бой* – “парень”, *вайф* – “жена” и т.п., далее следуют прилагательные: *блэковый* – “черный”, *олдовый* – “старый”, *вайтовый* – “белый” и глаголы *рингать* – “звонить”, *лукать* – “смотреть”.

Еще одна особенность молодежного сленга, которая тоже отражена в словаре Т.Г. Никитиной, – появление новых, переносных значений у слов общеупотребительной лексики. Образы, рождающиеся в сознании молодежи, чаще всего носят коллективный характер. Здесь можно встретить целый ряд тропов: прежде всего метафоры: *лемура* – “любовница”, *лопухи* – “наушники” и т.п.; метонимия и синекдоха: *дворянское* или *осиное гнездо* – “учительская”, *бантики* – “послушные дети”.

Характерная черта отечественного сленга – эвфемистичность – также широко представлена на страницах словаря “Так говорит молодежь”. В отличие, скажем, от эвфемизации в литературном языке, где табуированное понятие заменяется нейтральным, приличным, подобающим контексту выражением, в молодежном сленге она носит характер стёба, ёрничества. Так, синонимический ряд жаргонизмов, обозначающих понятие “смерть”, насчитывает около 20 членов. К примеру: умереть – “кеды выставить”, “склеить ласты”, “хвостом щёлкнуть”, “отъехать”, “дубаря секануть”.

Стремление к ёрничеству, стёбу проявляется не только в жаргонизмах-эвфемизмах, но и в различных “переделках-дразнилках” (чаще искажаются названия различных музыкальных групп или имена исполнителей типа *Ирина Аллегрова* – *Ирина Аллегрова*, *Макар Андрееч* – *Андрей Макаревич*, *Баба* – “АВВА”). Намеренному искажению подвергаются также маркировочные наименования, которые у всех на слуху: *астма* – «сигареты “Астра”» или *Беломоркэмэл* – «сигареты “Беломорканал”».

Демонстративная функция жаргонизмов заключается в том, что употребление (и, соответственно, значение) того или иного слова или

выражения характерно только для одной какой-нибудь молодежной группировки. Отсюда вытекает положение о том, что молодежный сленг – сложная структура, в которой выделяются многочисленные поджаргоны (сленг хиппи, панков, металлистов, рейверов, рэпперов, байкеров, компьютерщиков, студентов, школьников и т.п.).

Следует также отметить территориальное расслоение лексики: молодежь каждого региона имеет свой квазиязык, доступный только для жителей этой местности.

Расслоение лексики по сфере употребления и региональному принципу очень удачно отражено составителем словаря в системе помет, расположенных непосредственно перед толкованием, но после грамматических и эмотивно-экспрессивных характеристик. В словарь включены слова, принадлежащие речи: байкеров (байк.), воинов-афганцев (афг.), армейцев (арм.), бизнесменов, “новых русских” (биз.), программистов и компьютерщиков (комп.), криминальных структур (крим.), металлистов (метал.), моряков (морск.), музыкантов (муз.), студентов (студ.) и т.д.

Хочется отметить, что составителем словаря была проделана кропотливая работа не только по сбору и упорядочению собственного языкового материала, но и по изучению и классифицированию уже ранее издававшихся работ.

К несомненным достоинствам словаря можно отнести указатель синонимических рядов (более 700), который расположен в конце книги и позволяет пользователю упростить процесс поиска той или иной единицы.

Словарь Т.Г. Никитиной “Так говорит молодежь” – значительное событие для русской лексикографии, т.к. сленг из периферии перемещается к центру. Этот процесс часто оценивают негативно – как общее снижение литературной нормы, однако не учитывать его нельзя. Поэтому словарь Т.Г. Никитиной окажется прекрасным средством для улучшения взаимопонимания между поколениями.

В.С. Норлусенян,  
*Ростов-на-Дону*



## СКОЛЬКО СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?

*Н. Л. ВАСИЛЬЕВ,  
доктор филологических наук*

Словарное богатство языка является предметом гордости, престижа любого народа. Известно, что самые полные словари английского языка включают в себя до 450 тысяч слов. А сколько слов в русском языке? Ответ на этот вопрос далеко не прост – как вследствие необозримости лексики, так и теоретических сложностей разграничения слова, его видоизменений и явлений переходного характера – имен собственных, номенклатурных обозначений, многокомпонентных терминов, составных количественных числительных, “лексоидов” и др.

Самый естественный путь рассуждения о том, насколько богата лексика языка, – исходить из количественных параметров толковых словарей. Однотомный Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой включает в себя свыше 70 тысяч слов, 4-томный словарь под редакцией Д.Н. Ушакова – около 85 тысяч лексем, 17-томный академический словарь современного русского литературного языка – приблизительно 120 тысяч слов. Чемпион же в этом отношении – знаменитый словарь В.И. Даля, в котором отмечено более 200 тысяч слов.

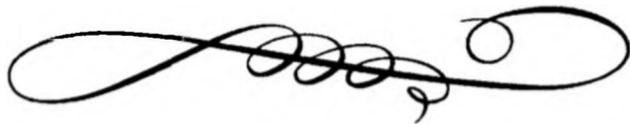
Однако любой толковый словарь, если он не тезаурус, отражает лексику языка не в полном объеме. Во-первых, отбор ее в словари ограничен преимущественно общенародными литературно-разговорными словами; диалектные, жаргонно-арготические, специальные элементы фиксируются здесь с известными ограничениями (для этого существуют региональные, социальные и отраслевые словари). Во-вторых, в толковые словари, как правило, не включаются элементы, выходящие за границы этически допустимой речи, то есть ненормативная лексика. В-третьих, словари не успевают фиксировать многие внутриязыковые неологизмы, заимствования. Заметим, к примеру, что в некоторых до-революционных словарях число иностранных слов, вошедших в наш язык, достигало 150 тысяч!

Помимо данных обстоятельств, мы должны принять во внимание и другие. Толковые словари, например, не включают также имена собственные; варваризмы – иностранные слова, бытующие в русском языке в иноязычном графическом и фонетическом облике; окказионализмы, возникающие под пером писателей, публицистов, журналистов, политиков. Не в полном объеме фиксируются в словарях и “потенциальные” лексемы, образуемые по продуктивным моделям: *по-болгарски, полунемец, полурусский, полусогнуться, полпятого, волшебное, грязно-серый, дружески-непринужденно, англо-немецко-русский* и т.п. Их можно встретить лишь в специальных словарях – орфографических, языка писателей и др.

Между тем объем лексики такого рода не просто велик, а едва ли не беспределен... По данным специалистов, только в одной химии используется около 5 миллионов номенклатурно-терминологических понятий! Количество имен собственных еще более необозримо: это личные имена, отчества, фамилии людей, названия учреждений, населенных пунктов, рек, магазинов, изделий промышленности, произведений искусства, фирм, программ и т.п. Граница между собственно русской и нерусской лексикой здесь особенно “прозрачна” – потенциально любой географический объект, любой человек могут в одночасье стать известными всему миру, “прозвучат” на всех языках, если это по каким-то причинам вызовет интерес общественности и соответственно средств массовой информации.

Таким образом, понятие “лексика русского языка” в количественном отношении не только многомерно, но и достаточно условно, поскольку включает в себя элементы общенародного, необщенародного, авторского и даже интернационального характера.

Саранск



***И те, кто (которые, что)..., или*  
немного о синтаксической синонимии**

Эр. ХАН-ПИРА,  
кандидат филологических наук

Читатель в письме в редакцию журнала назвал ошибкой употребление местоимения *кто* (в роли союзного слова) в предложениях типа: *Те, кто говорят так, ничего не понимают в литературе*. Читатель считает верным применение здесь только местоимений *что* и *которые*, т.е. *Те, что (которые) говорят так, ничего не понимают в литературе*.

Однако вполне отвечает норме современного русского литературного языка и конструкция с *кто* (а лет двести назад была нормой и конструкция с *кои*).

Возьмем известные строчки Маяковского: “И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас”.

Замечу, кстати, что столь жесткое размежевание людей (или–или) восходит у Маяковского, видимо, к формуле, существующей во всех четырех евангелиях: “Кто не со Мною, тот против Меня”.

Конструкция с *кто* интересна поведением глагола в придаточном предложении. При употреблении *что* или *который* глагол в придаточном предложении стоит в форме единственного числа, а если главное предложение начинается с указательного местоимения *тот*, в форме единственного числа: “Тот, что (который) говорит так, ничего не понимает...” А если указательное местоимение употреблено во множественном числе, глагол придаточного предложения ставится в форме мн. ч.: “Те, которые (что) говорят так, ничего не понимают...”

Другое дело – конструкция с *кто*. Конечно, когда предложение начинается с *тот*, глагол в придаточном предложении употребляется только в единственном числе. Но если в главном предложении стоит *те*, глагол придаточного может быть поставлен и в форме ед. ч., и в форме множественного. Это подтверждает и академическая “Русская грамматика” (т. II. М., 1980. С. 531):

“Местоимения *кто* и *что* не выражают различий в числе: они могут обозначать как одно лицо, так и совокупность (множество) лиц. Функ-

цию дифференциации лица по признаку единичности/неединичности может брать на себя указательное слово (*Описывать, притом еще изображать художественно, типы и нравы крестьян могут те, кто жил среди них.* Гонч.), нередко – вместе с формой глагола-сказуемого придаточного предложения (*Все, кто мог ехать, ехали сами собой, те, кто оставались, решали сами собой, что им надо было делать.* Л. Толст.). Таким образом, соотносясь с указательным словом в форме множ. числа, местоимение *кто* может координироваться со сказуемым-глаголом, имеющим форму как ед., так и мн. ч. (*те, кто боится/боится, пусть останутся дома*)”.

Стало быть, Маяковский мог бы написать: *И те, кто сегодня поют не с нами, те против нас*, а мог бы и так: *И те, кто сегодня поет не с нами, те против нас*.

Все рассмотренные случаи (с *что, который* и *кто*) – одно из проявлений синонимии на уровне синтаксических моделей, т.е. на синтаксическом уровне языка. Ср. иные случаи: *Шишков – антипод Карамзина* и *Шишков – антипод Карамзину*; *спросить прохожего – спросить у прохожего*; *большинство специалистов полагало – большинство специалистов полагали*; *две красные петлицы – две красных петлицы*.

Что до двух возможных вариантов строчек Маяковского, то между первым и вторым есть небольшое смысловое различие: в первом *те* мыслится как расчлененное множество, а во втором – как некое единство.



## “За ним кликну Карна...”

А.Л. ШИЛОВ,  
доктор химических наук

Это из “Слова о полку Игореве”: “О, далече заиде сокол, птиць бя, к морю! А Игорева храброго плъку не кресити. *За ним кликну Карна и Жля поскочи по руской земли, смагу мычючи в пламяне розе. Жены рускые въсплакашась...*” (курсив в цитатах наш. – А.Ш.).

Из контекста очевидно, что выделенный фрагмент передает горе, скорбь, плач по погибшим воинам Игоря. Д.С. Лихачев (“Слово о полку Игореве” и культура его времени. Л., 1978) приводит этот фрагмент как пример конкретизации абстрактных понятий в метафорических выражениях (оговариваясь, впрочем: «если только “карна” и “жля” – не языческие боги»). Сравним и поэтический вольный перевод И. Шкляревского (Октябрь. 1979. № 10):

О. далеко залетел сокол к морю,  
 Избивая ворон,  
 Да назад не воротится он.  
 Храбрый Игорев полк не вернется  
 Только плач на Руси отзовется.  
 Это Карна и Жля скажут в наши поля.  
 И беда уже у порога мечет пламя из рога.  
 Плачут русские жены...

А вот как был передан текст в так называемом екатерининском переводе: “В след за ним крикнул Карна, и Жля рассеялась по русской земле”.

Так что (или кто) стоит за образами *карна* и *жля*? Последнее, видимо, не что иное, как древнерусское *желя* “скорбь, печаль” (СлРЯ XI–XVII. Вып. 5. М., 1978). *Карна* же сопоставляли с глаголом *карити* “оплакивать покойника” (Гудзий Н.К. Хрестоматия по древней русской литературе. М., 1962. Изд. 7-е), но подтверждения этому (литературными или лексическими свидетельствами) не найдено.

Попробуем пойти чуть дальше. *Карна* может быть существом, которое кликнули, либо же собственно кличем. Кстати, в смоленском говоре есть слово *карна*, означающее крик птицы *Corvus grandarius* из рода вороновых (СРНГ. Вып. 13. Л., 1977). Но словом *karne*, *kaarne*, *koarne*, *kaarna* называется *ворон* в финском, карельском и эстонском языках. Вряд ли это простое совпадение. Очевидно, речь может идти о заимствовании из какого-то прибалтийско-финского языка, живого или мертвого (на котором говорила чудь, встреченная славянами в псковских, новгородских или тверских землях).

Единичность употребления слова *карна* в документах не позволяет говорить о его значении на русской почве с полной определенностью, но, думается, можно полагать, что в тексте “Слова” оно означает либо крик ворона, либо саму эту птицу как символ смерти, гибели, клича по покойникам.

Может возникнуть вопрос: как финский (в широком смысле) мотив мог проникнуть на Русь – в киевско-северские пределы? На это нам отвечает история: тем же самым путем, каким финнизм *пърe* “парус” (фин., кар. *riije*) попал в “Повесть временных лет” при описании похода Олега 907 года на Царьград, каким в украинские диалекты проникли финнизмы *чагор* “кустарник”, *каргак* “луг, поросший кустарником”, *рень* “отмель” и т.д. (Шилов А.Л. Чудские мотивы в древнерусской топонимии. М., 1996). Это знаменитый путь “Из Варяг в Греки”, по которому издавна шли контакты северной и южной групп восточного славянства, с IX века объединенных единой государственной властью. Этим путем на Русь (т.е. в великокняжеский домен в среднем Поднепровье) попадали и чудские (“финские”) купцы, и воины, и чудская знать, и простой люд из новгородско-ладожских земель. Очень выразительно сказал об этом В.А. Егоров: “Нет никакой необходимости из-

вращать прямой и ясный смысл летописных известий о движении финских полчищ, наряду с новгородскими, на юг: шли подлиннные финские воины, а не только их лошади, как когда-то полагал М.П. Погодин” (Движение новгородских финнов на юг // Сборник ЛОИКФУН. Л., 1929. Вып. 1). Как справедливо отметил В.Я. Петрухин: “отношения финских народов со средним Поднепровьем не прерывались в X–XI веках, а, напротив, становились шире и разнообразнее, так как они интенсивно вовлекались в процессы консолидации древнерусского государства и древнерусской народности” (Ловмянский Х. Русь и норманны. М., 1985, комментарий на с. 283).

Действительно, об участии чудских племен новгородского севера в южных военных мероприятиях мы читаем в летописи под 882 и 907 годами. А под 988 годом сообщается: «И рече Володимер “Се не добро, еже мал город около Киева”. И нача ставити города по Десне, и по Востри, и по Трубежеви, и по Суле, и по Стугне. И поча нарубати муже лучшие от словень, и от кривичь, и от чюди, и от вятичь, и от сих насели грады». Вот откуда взялись и *Туки брат Чюдинь* в дружине киевского князя Изяслава (1068 г.), и его брат *Микула Чюдин* – управитель княжеской резиденцией Вышгородом (1072 г.), и черниговский боярин *Иван Чудинович* (1115 г.), и черниговский тысяцкий *Азарий Чудин* (1151 г.).

Вовсе не обязательно связывать слово *карна* напрямую с новгородской чюдью. На Русь оно могло попасть с кем-то из новгородских словен или кривичей, усвоивших его от чудского населения. Но истоки этого слова явно чудские.

Так что “Слово” оказывается не только выдающимся художественным и историческим памятником, но и содержит свидетельство тесных славяно-чудских языковых контактов.



## **ПО ИМЕНИ НАЗЫВАЮТ, ПО ОТЧЕСТВУ ВЕЛИЧАЮТ**

*Г.В. БОРТНИК,  
кандидат филологических наук*

В последние годы постыдно легко исчезает из русской культуры все то, что составляет ее яркие особенности. Сегодня для многих стало совсем привычным растиражированное телевидением и газетами сочетание *президент Борис Ельцин, спикер Егор Строев, премьер Евгений Примаков* и т.п. Средства массовой информации незаметно лишили должностных лиц России отчеств, то есть величания. Заменяв привычную официальную триаду имя-отчество-фамилия сочетанием имени с фамилией, журналисты отвергли не только традиционную русскую этикетную форму, но и выражаемые ею вежливость, почтительность, уважительность, в том числе и к старшему по чину или возрасту. В русском народе говорится: *По имени называют, по отчеству величают.*

Господам, чья историческая память оказалась столь короткой, что обрывается уже на втором колене, наверно, нелишне напомнить: величание – одна из древнейших примет русского этноса. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона можно прочитать: “Обычай называть людей по отчеству не существует вовсе на Западе”. И далее: «В народных песнях эпитеты “отецкий сын”, “батькова дочь” служат синонимами всякого рода доблестей, между тем как эпитет “неотецкий сын” значит то же самое, что невежа, человек без воспитания, дикарь» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М., 1990. Т. 10).

Трудно представить без величания имени русских былинных богатырей *Добрыни Никитича, Вольги Святославича...* А особо почитаемых древнерусских князей летописцы величали не только по батюшке, но и по деду и даже прадеду.

Однако принятые у русского народа антропонимические номинации были не только этнической “этикеткой”, но и важным социальным знаком. Народные пословицы донесли до наших дней истину: *Без вотчины, так без отчества, Богатого по отчеству – убогого по прозвищу.* Русская классическая литература тоже свидетельствует: крепостные не могли именоваться по отчеству. Это правило в отношении крестьян сохранялось еще многие годы и после отмены крепостного права. Однако в крестьянской среде было заведено, что жена величает своего мужа по имени-отчеству. Нарушавших это установление мужья нередко и “учили”.

На протяжении многих веков строго дифференцированной была и форма отчества. Вначале отчества на *-вич* в Московской Руси имели только князья и бояре. В XVI–XVII веках подобные отчества стали не сословной, а должностной привилегией. На *-вич* теперь именовались бояре, думные дворяне, окольничие (один из высших придворных чинов в допетровской Руси), постельничие (придворный чин, лицо, ведавшее личной казной царя, хранившее личную печать царя, руководившее пошивом царских одежд), сокольничие (лица, отвечавшие за великокняжескую охоту), оружничие. Позднее, в XVII–XVIII веках, право писаться с *-вичем* могло как награда быть пожаловано царем. Екатерина II специальным указом предписала величание на *-вич* иметь только представителям первых пяти классов “Табели о рангах”. В армии это были чины от бригадира и выше. Классам от шестого до восьмого (чины от полковника до майора) разрешалось иметь отчество на *-ов, -ин*. Всем остальным патроним не полагался. Подобное разделение соблюдалось вплоть до XIX века и нашло свое отражение в пословице *Наши вичи едят калачи* (Подробнее см.: Валесв Г.К. “Наши вичи едят одни калачи” // Русская речь. 1981. № 1.).

Значимым было (и до сих пор остается) употребление отчества без личного имени. Как отмечал В.И. Даль, такое именование выражало “среднюю степень почета” (Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1989. Т. II). Только по отчеству обращались преимущественно к пожилым простолюдинам, а также к любимым крепостным “мамкам” и “дядькам”.

Начиная с петровских времен трехсловное именование стало обязательным для всех привилегированных сословий. А демократическим завоеванием советского периода явилось распространение трехкомпонентного именованья на каждого гражданина страны. Известный специалист по русской ономастике В.А. Никонов отмечал и возможность “во всей текущей официальной документации”, наряду с полным име-

нем и отчеством, употреблять “фамилию с инициалами имени и отчества” (Никонов В.А. Русские имена // Русская речь. 1988. № 4).

Никогда прежде в официальной речи уважаемые люди не назывались по имени и фамилии без величания. А вот в самоназваниях, особенно неофициальных, подобная форма считалась не только допустимой, но и желательной по этикетным соображениям. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона замечено: “В неофициальных бумагах подписываем обыкновенно только свое имя и фамилию, считая неловким выставить и отчество” (М., 1990. Т. 10). У людей творческих профессий – писателей, поэтов, артистов – заведено именовать себя тоже без величания. Всем известен псевдоним *Максим Горький*, которым Алексей Максимович Пешков подписывал свои произведения. Но в официальной речи этот псевдоним всегда заменяется привычным *Алексей Максимович Горький*. И к персонам менее важным, например таким, как *Геннадий Несчастливцев*, лицедей из комедии А.Н. Островского “Лес”, чаще всего обращались по имени-отчеству. И современные эстрадные кумиры на официальных церемониях именуются не иначе, как *Алла Борисовна* и *Эдита Станиславовна*... Позволительно ли в таком случае президента, спикера или премьер-министра в официальных сообщениях именовать без величания?

Русские отчества отвечают на вопрос “чей?”, зачем же нам от них отказываться?

*Брянск*